

СИБИРИАДА

ВЛАДИМИР
МАКСИМОВ

Не оглядывайся
назад!...

Сибириада

Владимир Максимов

Не оглядывайся назад!..

«ВЕЧЕ»

2015

УДК 821-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)

Максимов В. П.

Не оглядываясь назад!.. / В. П. Максимов — «ВЕЧЕ»,
2015 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4444-3025-5

Роман известного сибирского прозаика Владимира Максимова – весьма необычное произведение. Это роман-параллель, состоящий из двух почти самостоятельных повестей, и в нём сразу два главных героя. Но благодаря авторскому мастерству оба они незаметно соединяются в единый образ, образ истинного сибиряка, хорошо знающего и безмерно любящего свой родной край. Охотник-промысловик Игорь Ветров отправляется в многодневный переход по тайге. Сплаваясь по речке к Татарскому проливу, он ночует в небольшой таёжной деревеньке. Там, обследуя заброшенный дом, Ветров находит на чердаке старый, потрёпанный дневник некоего Олега Санина, своего земляка, жившего в 1970-х годах. Ветров забирает дневник с собой и на привалах и ночёвках читает его. Постепенно перед ним возрождается необыкновенная и драматическая судьба Санина, забросившая его на Северный Кавказ, за тысячи километров от родных мест и подарившая ему радость любви к молодой осетинке...

УДК 821-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4444-3025-5

© Максимов В. П., 2015
© ВЕЧЕ, 2015

Владимир Павлович Максимов

Не оглядывайся назад!..

© Максимов В.П., 2015

© ООО «Издательство «Вече», 2015

* * *

«...Наша постоянная ошибка в том, что мы не принимаем всерьёз данный, протекающий час нашей жизни, что мы живём прошлым или будущим, что мы всё ждём какого-то особенного часа, когда наша жизнь развернётся во всей своей значительности, и не замечаем, что она утекает, как вода между пальцами, как драгоценное зерно из дырявого мешка, не понимая, что самым драгоценным является нынешний день... Прав был Конфуций: «Прошлого – уже нет. Будущего – ещё нет. Есть только настоящее».

Остров Медный. Курилы, 1970 г.»

Этот дневник – толстую общую тетрадь, с кое-где выдранными страницами, в коленкоревой обложке синего цвета, исписанную красивым ровным почерком, я нашёл на чердаке в доме деда Нормайкина, у которого мы – двое студентов-охотоведов, жили некоторое время после выхода из тайги, ожидая обратного вертолета в Совгавань, откуда я и мой напарник Юрка Банных прибыли сюда, в небольшую деревеньку Гроссевичи, – притулившуюся на берегу Татарского пролива, у мыса Крестовоздвиженский, – почти два месяца назад для прохождения производственно-промысловой практики...

Порою, углубляясь в чтение чужого дневника, я находил в нём явную параллельность событий, происходящих со мной и неведомым мне Олегом Саниным – автором этих записок. Хотя параллели эти пролегли в разных временных отрезках, но места и обстоятельства, выстраиваемые Судьбой, бывали иногда так схожи...

* * *

Из Хабаровска в районный центр Советская Гавань (бывшая Императорская бухта) мы с Юркой летели на небольшом самолётике местных авиалиний. Его нещадно болтало в воздухе из стороны в сторону и сверху вниз. Иногда начинало казаться, что от постоянного дрожания фюзеляжа (словно наш «небесный тихоход» страдал тропической лихорадкой) он весь, до последней заклёпки, вот-вот рассыплется прямо в полёте.

Опасения вызывали также не только «воздушные ямы», что-то уж больно часто встречающиеся в этом рейсе, но и натужно-надсадный рёв двигателя, работающего словно на последнем пределе своих сил, будто ему, как хроническому астматику, воздуха не хватало даже в небесах. Приземление поэтому, – а вернее – приснежение, поскольку сверху совгаванский аэропорт представлял собой идеально ровное белое поле, с небольшим деревянным домиком аэропорта сбоку, – было воспринято всеми пассажирами сего летающего вентилятора как событие весьма отрадное. И даже наш, неразумный ещё, щей Шарик, прилетевший вместе с нами и успевший не раз облеваться за время полёта, теперь, радостно виляя хвостом и хватая на ходу красной пастью пушистый нетронутый снег, носился кругами, оставляя на чистой его «странице» свои следы. Он весело взвизгивал и, похоже, искренне радовался тому, что нако-

нец-то выбрался из этой ненадёжной тарантайки на надёжную, никуда не уплывающую из-под ног земную твердь.

* * *

«...Я помню тот Ванинский порт,
И вид пароходов угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт
В холодные мрачные трюмы.

Я в Ванино на борт не поднимался, а наоборот – спускался по трапу на причал. А вот вид, не у парохода, а у меня, точно был угрюмый...

Дело в том, что перед самым рейсом меня обокрали и я со всем своим, правда, немногочисленным, хозяйством – двумя превосходными лайками, с таким трудом добытыми мною на севере Камчатки, остался почти без денег и продуктов для собак.

Капитан посудины, на которой я добирался до материка, распорядился «за отработку» – когда надо было чем-нибудь помогать команде, кормить меня и мою беспокойную братию. Кое-какой припас в последние часы перед приходом в «порт приписки» выделил мне и боцман. Да ещё ссудил «в долг» денег, сказав, что вернуть их, может, и с процентами, – если разбогатею, я должен буду не ему, а любому человеку, который так же, как и я сейчас, окажется в стеснённых обстоятельствах. Получится этакая эстафета добра с передачей некой «палочки-выручалочки».

– С тобой-то, Олег, – сказал он на прощание, – мы вряд ли ещё где пересечёмся. Нам скоро снова в рейс. Тебе – на промысел, так что «действуй, как я»...

Боцман – широкий, сильный, в расстёгнутом нараспашку стареньком, когда-то чёрном, а теперь почти сером кителе, из-под которого выпирала обтянутая, также выдавшей виды тельняшкой, могучая грудь и не менее могучий живот, – ещё немного постоял, пораскачивался на своих устойчивых к любой качке ногах, держась двумя руками за леер и глядя в море, а потом будто нехотя, словно он уже израсходовал отпущенный ему на сегодняшний день запас слов, продолжил:

– Сухой паёк, считай, ты отработал. О долге, как я тебе уже сказал, тоже не озабочивайся... – из уст обычно угрюмоватого, немногословного «морского волка»-бобыля слова эти звучали как доброе отеческое наставление. – По идее-то, за твоих собачек мы тебе ещё и зарплату должны были начислить. Сколько они крыс успели на нашей калоше изничтожить, когда совсем оголодали. По их голодному скулежу, кстати, пока они вольным промыслом не занялись, мы и поняли, что что-то у вас не так... Одним словом, и нам они помогли, и тебе. А то сидел бы весь рейс голодный, но гордый. Вы, молодые, на просьбы-то шибко не охочие... Ну, ничего, жизнь – она гордыню быстро пригнёт... До Совгавани из Ванино рейсовый автобус ходит – так что доберёшься... – он снова немного помолчал, а потом уже с небрежной улыбкой, словно устыдившись своей размягчённости, бросил, уходя: – Ну, ладно – прощай! Будь здоров!..

В Совгавани мне надо было объявиться в госпромхозе, с которым имелаась предварительная письменная договорённость о работе штатным охотником. С обустройством нового, ещё никем не освоенного, участка, расположенного где-то в среднем течении реки Ботчи. По моим «разведданным», места там «кормные» и по пушнине и по зверю...»

* * *

По улицам Совгавани, небольшому городку из трех главных улиц, преобладающими строениями на которых были двух- и трёхэтажные кирпичные и деревянные двухподъездные дома, носилась озорная позёмка...

Автобус добродушно пофыркивал и, словно играя с ней в догонялки, сворачивал то вправо, то влево, забираясь всё выше и выше по полого тянущемуся затяжному склону.

Из-за близости моря, видимого внизу, мороз здесь был не так свиреп, как в покрытом куржаком Хабаровске или у нас – в Иркутске, – откуда мы с Юркой вылетели два дня назад на очередную производственную практику, почти сразу после зимней сессии, на сутки задержавшись в Хабаровске.

Наши однокурсники и друзья тоже разъехались кто куда: в Карелию, Среднюю Азию, Приморье, на Чукотку, Камчатку, Командорские острова...

Факультет охотоведения – единственный на всю страну! И семьдесят пять крепких парней – один курс, на двести пятьдесят миллионов человек её населения – это не так уж много для одной шестой части суши, именуемой СССР. Так что места для промысла, в том числе и морского, вполне хватит всем.

Двухэтажное, из не очень толстых, ровных длинных брёвен, здание госпромхоза, обнесённое высоким глухим деревянным забором из струганых досок, почерневших от времени и солнца, находилось на тихой городской окраине, к домам которой вплотную подступал красивый, стройный сосновый лес.

Нашему фырчуну-автобусу понадобилось примерно полчаса, чтобы, просквозив весь город, доставить нас сюда из аэропорта. И пока – это был на какое-то время конечный пункт нашего маршрута: Иркутск (-42°), Хабаровск (-38°), Советская Гавань (-12°). Дальше, получив под будущую, еще не добытую потенциальную пушнину, всё необходимое, в том числе и оружие, мы, уже вертолётом, отправимся на Север, где в бывшем леспромхозовском посёлке-селе нас должен будет встретить местный егерь Нормайкин, который и доставит меня с Юркой на отведённый нам участок, расположенный где-то в среднем течении реки Ботчи.

– Он из семьи бывших староверов, так что мужик в хозяйстве крепкий, да и сам ещё не хилый, хоть и в годах, – просвещал нас на следующий день с утра директор госпромхоза. – Всё, что необходимо, он вам организует... А пока поднимитесь наверх, в нашу билльярдную, там вас пограничник ожидает. После его инструктажа – получите оружие. Кстати, здесь-то вас нормально вчера сторож встретил и разместил?.. Ну, тогда лады, – отреагировал он на наши энергичные кивки.

В просторной мансарде со скошенными потолками и прекрасным билльярдным столом посредине, похожим на небольшой английский газон, ярко освещённый светом ламп над ним, нас встретил молодой, стройный, розовощёкий лейтенант пограничных войск с зелёными погонами. В его задачу входило разъяснить нам с Юркой, как надо вести себя «в пограничной зоне». Хотя, если судить по карте, граница в тех местах не так уж и близка.

Лейтенант, прохаживаясь с кием в руке вокруг билльярдного стола и словно вбивая каблуки сапог в пол, объяснял, что нужно делать, если мы «вдруг» встретим в тайге «незнакомое или незнакомых подозрительных людей». По каким признакам конкретно определяется подозрительный тип, лейтенант не уточнил. О том же, что в тайге, за десятки километров от ближайшего жилья, практически любой человек является подозрительным незнакомцем, пограничник будто бы и не догадывался.

За время инструктажа, порою прерывая его, он сделал несколько точных ударов, что доставило ему явное удовольствие. Во всём же остальном чувствовалось, что этого щеголева-

того офицера, с зелёным околышем фуражки, в начищенных до солнечных зайчиков хромо-вых сапогах и ладно сидящем на нём кителе, тяготит служба в крохотном гарнизоне «на краю географии». Может быть, именно поэтому даже во время своего занудного инструктажа он не столько рассказывал, сколько расспрашивал: об Иркутске, учёбе, о том, где мы уже успели побывать на практиках до нынешнего четвёртого курса...

Вывод из наших ответов он сделал всё же неожиданный.

– Семьдесят пять человек на весь Союз?! Здорово! Но учиться без девчонок – наверняка скучно. Это всё равно, что в военном училище.

Сняв фуражку и положив её на тумбочку, стоящую рядом со скошенным большим окном мансарды, он вдруг открыто улыбнулся и, поскольку официальная часть была закончена, предложил сыграть пару партий.

Потом в этом просторном промхозовском помещении мы не однажды играли с ним в бильярд, коротая время, потому что из-за непогоды вылет вертолёт задерживался. Правда, выиграть у лейтенанта никому из нас так и не удалось.

Обычно он задумчиво, молча, словно заранее вычерчивая в уме весь причудливый рисунок игры, намеливал тонкий конец полированного кия. Проверял – хорошо ли, удобно ли тот скользит по большому пальцу левой опорной руки... От этого пробного движения кия вперёд-назад мел очень мелким «снегопадом» осыпался на зелень сукна. Затем, не спеша, прикрыв левый глаз, лейтенант прицеливался... После чего раздавался короткий, как выстрел, удар. Шар стучался о шар и, провалившись в сетку лузы, замирал там очередной «добычей»...

Почти после каждого удачного «щелчка» пограничник задавал нам с Юркой какой-нибудь вопрос. Например, много ли кинотеатров в нашем городе? Ходит ли по улицам троллейбус? Хороша ли архитектура? Сколько в нём ресторанов? Где мы развлекаемся? Ходим ли на танцы? Красивы ли в Сибири девушки?

Наши ответы он слушал внимательно, не перебивая. Потом снова подходил к столу и производил точный удар. Делая это с таким решительным видом, будто в этот момент заставлял Судьбу следовать по избранному не ей, а им курсу.

А иногда наш бравый лейтенант сам ударялся в воспоминания, из коих мы узнали, что родился он в крохотной деревеньке на Урале и прожил там безвыездно до окончания школы, в последних классах которой училось лишь по несколько человек.

В семнадцать лет, впервые покинув родной порог, Андрей поступил учиться в высшее пограничное училище, располагающееся в большом красивом приволжском городе. С прекрасной набережной, освещаемой тёплыми летними вечерами множеством ярких огней. И по этой набережной неспешно прогуливались ещё более яркие, весёлые и какие-то весенние девушки, явно выделяющие нашего героя среди его товарищей-курсантов, тоже получивших увольнительную...

Собственно, разговоры об обитательницах городка: от шестнадцати и старше – и составляли основную канву воспоминаний... И чувствовалось, что на этом «фронте» у нашего лейтенанта было немало блестящих побед. Может быть, не таких быстрых, как с нами, на бильярде, – потому что игроки мы с Юркой были, прямо говоря, – никакие, от нечего делать, – но зато куда более приятных.

После особо трудного, но красивого («Девятый от борта, в среднюю лузу») и неизменно точно выверенного удара лейтенант взбадривал себя одним-двумя глотками коньяка, налитого в гранёный стакан «на один палец». Делал он это картинно и самозабвенно, никогда не предлагая, однако, нам отведать этого напитка из заветной пятизвёздочной «капитанской» бутылки, которую извлекал из тумбочки, стоящей под широким окном, со множеством одноразмерных, небольших квадратных перегородок. Какое-то время потом лейтенант ещё стоял со стаканом в руке, на самом дне которого плескались остатки коричневатого-янтарной жидкости, словно

прислушиваясь к тому, что происходит у него внутри и одновременно глядя на бесконечную череду серых, чем-то отдалённо напоминающих рыбью чешую, заснеженных сопок.

Затем, поставив стакан на тумбочку рядом с бутылкой, он подходил к полочке с шарами и не спеша намеливал конец кия, готовясь к очередной непростой комбинации. «Подстав» лейтенант не любил и никогда не добивал их.

Однако ни коньяк, ни быстрые победы, похоже, не особо занимали нашего героя. В его движениях и разговорах словно ощущалась уже какая-то преждевременная старческая вялость. Судя по всему, ему не только было невыносимо скучно здесь служить, но и жить-то вообще ему было не особенно весело. Несмотря на всю его молодость и здоровье...

Может быть, это происходило оттого, что золото погон так и не обернулось, по его мнению, золотой жилой жизни...

К обеду он обычно выпивал почти полбутылки коньяка безо всякой закуски, после чего заметно грузнел, и его удары становились не так точны. Пожалуй, в такой момент мы могли бы и выиграть у лейтенанта. Но именно в такой момент он игру прекращал.

Оставшийся в бутылке коньяк убирал в тумбочку, запирая её своим ключом. А оставшийся в стакане, оттопырив мизинец, молча допивал. Затем бесцветным голосом, обращаясь к нам, говорил:

– Если завтра не улетите – приходите. Сыграем. До обеда у меня есть время.

Обычно это был сигнал – уходить. И мы с Юркой выходили на площадку деревянной лестницы, а лейтенант запирает дверь мансарды госпромхозовским ключом и вместе с нами спускался по скрипучим деревянным ступеням вниз, чтобы отдать ключ сторожу-вахтёру.

Внизу он снимал с вешалки шинель, надевал её, становясь ещё более стройным, и отправлялся в свою часть. А мы – в одну из пустующих на первом этаже комнат конторы, с плакатами, развешанными по её стенам, рассказывающими о классификации «пушной продукции», об устройстве карабина и многом другом, что считалось необходимым в любом госпромхозе.

Сейчас на полу комнаты лежали наши, скрученные в рулоны, спальные мешки, а в углу размещались пожитки, коробки, мешки и мешочки – с тем, без чего не обойтись в тайге: сухари, спички, сахар, различные крупы, оружие, боеприпасы к карабинам и малокалиберным винтовкам.

* * *

«Дорога туда и дорога обратно – две разных дороги...

Дорога к цели, пусть даже неведомой ещё, – это всегда дорога надежд, ожиданий, неясных, порою – тревожных, предчувствий, пропитанных горечью расставания с близкими людьми... В самом начале пути я уже начинаю думать о дороге обратной. О возвращении, пусть не скором, но обязательно счастливом. Хотя счастливое возвращение зависит от множества удачно сложившихся обстоятельств. А проще – от форта, как здесь говорят...

Да, удача – это именно то, что мне более всего теперь необходимо. Ведь я появлюсь почти на девственном участке тайги, который для жизни и для промысла ещё только предстоит обустроить. Надо завезти продукты, построить зимовьё, наметить и наладить путики. Обойти и изучить весь участок, запоминая кормные места, тропинки к водопою...

Правда, всем необходимым, – оформив штатным охотником пока что на один сезон, – меня снабдили в совгаванском госпромхозе. А по рассказам бывалых охотников, забредающих в те места, участок, выделенный мне, очень хорош! Говорят, что соболя, колонка, белки там – немерено. Тем более, что лет пять, как минимум, туда никто не заглядывал. От прежних же заходов там сохранилось только полуразрушенное, на скорую руку сработанное зимовье...

Одним словом, работы предстоит много. А вернуться назад, может быть, даже через полгода, мне непременно надо победителем. Чтобы в первую очередь самому себе доказать, что я чего-то стою и на что-то гожусь в этой жизни. Надо быть сильным – иначе зачем ты?

О том же, что моя разлука с Таей может растянуться и на год, стараюсь не думать. Что могу не вернуться вообще – в тайге ведь всякое случается – стараюсь даже не задумываться. Хотя мне конечно же немного тревожно отправляться в Неизведанное. Тем более, что настоящего таёжного опыта у меня, по сути дела, нет. Я ведь недоучившийся медик, но надеюсь, что любовь к Тае, природное упорство и смекалка помогут мне. Недаром же говорится, что самые блистательные победы те, которые одержаны над самим собой. Наверное, справедливо было бы добавить – и над обстоятельствами...

Но, довольно праздных рассуждений. Ведь я ещё только на полпути к цели. Не время думать об обратной дороге, грустить о Тае. Ибо всё это лишь убавляет мои силы.

Эх, Тая, Тая – знала бы ты, как мне тебя недостает... Но и представить тебя здесь, со мной, в этих первобытных условиях, я не могу. И – не хочу. Ты создана для другой – спокойной, тихой жизни. И потому – я здесь. Чтобы всё, о чём в глубине души, наверное, мечтает каждый нормальный человек, было у нас исполнимо...»

* * *

В небольшом деревянном, немного вытянутом в длину одноэтажном здании местного аэропорта, когда-то покрашенного голубой краской, мы с Юркой сидели в продавленных, но всё ещё достаточно добротных, мягких, креслах «зала ожидания», рассчитанного примерно на два десятка пассажиров.

В углу этого зальчика ровно погуживала большая – от пола до потолка – пузатая железная, побеленная и вделанная в стену круглая печь, от которой исходило приятное тепло. В другом углу пустого зала ожидания, подальше от неё, покоился весь наш нехитрый скарб. Сработанные из кедровой цельной дощечки, лёгкие паняги с крепко привязанными к ним рюкзаками. В которых – самое необходимое: запасные байковые портянки; шерстяные (мягкие и очень тёплые, из собачьей шерсти) носки; рукавицы; китайское «с начёсом» нижнее бельё «Дружба»; спички – в целлофановых непромокаемых пакетах; патроны; небольшой запас еды. Всё остальное, в основном – продукты, уложено в обычные холщовые, бумажные мешки или картонные коробки. Рядом с одной из которых, лапами вверх и даже немного похрапывая, растянулся наш «могучий зверь» – Шарик. Блаженство и нега исходили от его валяжной позы... Впору было и нам развалиться рядом с ним на чисто вымытом желтоватом полу. И я было уже всерьёз подумывал об этом, разомлев от приятного ровного жара печи, но тут, прервав ленивый ход моих мыслей, наружная дверь резко распахнулась. В клубах пара, проворно, словно озорник, ворвавшегося с улицы, на пороге обозначился пилот нашего вертолёта: здоровенный рыжий детина в зимней лётной куртке нараспашку, в толстом свитере под ней, с простоватым добродушным веснушчатым лицом и словно навсегда приклеенной к нему улыбкой.

– Борт готов! – бодро отрапортовал он нам на ходу, направляясь к двери диспетчера.

Минут через пятнадцать со всем своим добром мы уже были в холодном и от этого особо неуютном вертолете. А ещё минут через пять, по-прежнему с улыбкой во весь рот, довольный жизнью и собой, через «салон» в кабину проследовал пилот.

– Ну что, орлы! Всё в порядке?! – обернулся он к нам со своего места. – Загрузились?..

Поудобнее устроившись за штурвалом, он для чего-то похлопал одна о другую чёрные кожаные перчатки, натянул их на свои ручищи и не то сообщил нам, не то сам себе скомандовал:

– Ну – вперёд и вверх, а там...

«Ведь это наши горы – они помогут нам», – мысленно продолжил я за него куплет песни Владимира Высоцкого.

Вертолёт неожиданно затарахтел, мелко сотрясаясь всем своим железным корпусом. Затем неохотно оторвался от земли и, слегка качнувшись вправо-влево почти на одном месте, круто развернулся в воздухе. В иллюминаторы, уже с моей, до этого теневой стороны, ярко брызнуло солнце!

Лётчик снова обернулся к нам. Показал оттопыренный большой палец сложенной в кулак руки, туго обтянутой перчаткой и, снова улыбнувшись, отчего в салоне стало вроде бы ещё светлее, нараспев, пересиливая шум вращающихся винтов, продекламировал:

– Летим на северо-восток, вдоль побережья... Слева – материк. Справа – Татарский пролив... Минут через двадцать должны быть на месте...

Этому весельчаку, видимо, не хватало общения...

Наш же неустрашимый по своей молодой глупости щей, обычно сующий свой чёрный влажный нос в любую щель, сейчас общения явно не желал. Он свернулся клубком под откидной лавкой, на которой сидел я, спрятав морду под живот и даже прикрыв передней лапой глаза. В этот момент он действительно полностью соответствовал своему имени, напоминая пушистый серый шарик, а вернее – шар. Похоже, его тяготил, а может быть, и раздражал, потому что время от времени он принимался недовольно урчать, этот полёт и этот жуткий грохот.

Мы же, стараясь не обращать внимания на нудноватый однообразный гул двигателей, с разных сторон прильнули к иллюминаторам.

С моей стороны, насколько хватало взгляда, были видны сильно изрезанные сверху, поросшие лесом, мрачные тёмные скалы со слепящим белизной припая «ожерельем» у их основания, да серо-зелёные, лениво колышущиеся воды пролива, отделяющие остров Сахалин от материка.

Полёт длился уже минут десять, и мы почти привыкли к шуму и даже пытались перебиваться отдельными фразами, делясь впечатлениями от увиденного. Шарик тоже больше не ворчал, лежал тихо, положив свою острую умную мордочку на передние лапы, оттопырив уши и иногда вопросительно поглядывая то на меня, то на Юрку.

И вдруг вертолёт начал падать. Мы инстинктивно вцепились в края своих лавок, а Шарик попытался спрятаться в куче мешков, которые медленно поползли на него, вперед по проходу.

Ещё не успев ничего понять, мы увидели, что наш пилот жестом сигналил: «Мол, всё в порядке!», а указательным пальцем тычет куда-то вниз.

Лицо у него было сосредоточенное, улыбка исчезла.

Через открытую дверь кабины, к бокам которой прижались с двух сторон, мы увидали, как по льду припая, быстро увеличиваясь в размерах, стелется, откинув и распушив рыжим факелом хвост, небольшая лисица, которую вот-вот должна накрыть страшная, стремительно приближающаяся к ней тень винтокрылой махины.

Уйти рыжей влево мешали отвесные скалы, вправо – вода. И на этой белой безжизненной «беговой дорожке» примерно стометровой ширины происходила безумная, безжалостная гонка, которая для кого-то, преследователя или предполагаемой жертвы, в любой момент могла закончиться трагически. Ценой «забега» была жизнь...

Лисица, плотно прижав к голове уши, скользила вопреки всем законам логики, почему-то не ближе к скалам, где её могло ждать спасение, а ближе к воде, оставляя вертолёту простор для манёвра. И бег её, это чувствовалось, был уже на пределе сил. Иногда она, сбавляя ход и задрав вверх свою оскаленную мелкими острыми зубами мордочку, тщетно пыталась устроить своего грозного преследователя...

Что она делала на припорошенном снегом льду? Что занесло её сюда на свою беду? Может быть, она мышковала у подножья скал?..

На какое-то время мы потеряли лисицу из виду. Вертолётчик по возрастающей траектории со стороны моря делал очередной заход, пытаясь, как и в первый раз, боковым колесом шасси оглушить свою жертву.

Я видел, как от быстрого бега рыжий, лоснящийся мех зверька от загривка до хвоста колыхнется мягкими упругими волнами. Бока её ходили ходуном. От столь стремительного бега лисице явно не хватало воздуха. И я понимал, что следующий, третий заход вертолёта на «исходную позицию», скорее всего, станет для неё последним.

Однако Судьба распорядилась по-другому. Резко изменив направление бега, лисица успела юркнуть в небольшую расщелину скал, скорее всего, пробитую в них упрямым безымянным ручейком, образующимся каждую весну при таянии снегов.

Тень вертолёта скользнула по скалам, едва не зацепив винтом отвесную «стену», и, резко взмыв вверх, машина стала удаляться от такой опасной близости.

– Ушла! – искренне огорчился пилот, переставший мне нравиться. – Обычно на втором-третьем заходе, если даже колесом не зацепишь, любая зверушка дохнет от разрыва сердца. А эта, смотри, ускользнула, – посетовал он на лисицу. – Чуть винтом из-за неё по скале не чиркнул. Кельдым бы нам тогда всем был...

Машина уже выровняла курс, достигнув необходимой для безопасного полёта высоты. И вновь – с левой стороны стало видно зелёное, с частыми белыми проплешинами, застывшее какое-то беспределье тайги; с правой – безжизненное, равнодушное, отливающее сталью вод пространство пролива с искристо сверкающей полосой припая.

Через некоторое время впереди, в долине широкой реки, кое-где отливающей зеленью льда, на пологом её берегу замаячили почти занесённые снегом дома небольшого посёлка.

Вертолёт плавно пошёл на снижение, прицеливаясь к центру ровной заснеженной поляны, у отдельно стоящего на мысу, на другом берегу, добротного бревенчатого домика-метеостанции, расположенного вдали от деревни. Взвихрив вокруг себя снег, машина мягко приземлилась, и через минуту, до звона в ушах, наступила волшебная, желанная, первозданная тишина...

Шарик первым с радостным визгом выпрыгнул на снег в боковую дверь вертолёта и наперегонки с самим собой начал носиться вокруг этой притихшей махины, пытаясь догнать кончик собственного хвоста.

Дверь метеостанции отворилась, и из неё на крыльцо вышел бледный высокий худой человек с чеховской интеллигентной бородкой. Чем-то он даже напоминал Антона Павловича – только что был без пенсне.

Мы с Юркой поприветствовали его и стали выгружать свои пожитки. Я выкидывал их из нутра вертолёта, а он подхватывал очередной мешок или коробку и быстро ставил на землю.

«Антоша Чехонте» – начальник метеостанции и вертолётчик, державший в руке небольшой брезентовый мешок с почтой для посёлка, зашли в дом.

Минут через десять они появились вновь.

Пилот забрался в кабину. Через стекло помахал всем рукой, привычно улыбнулся (мне показалось, что он незаметно, как прозрачную маску с улыбкой, натянул её на себя вновь) и тут же, позабыв о нас, повернул голову к приборному щитку и включил двигатель.

Мотор взревел. Всё быстрее и быстрее закрутились винты машины, перемалывающие прозрачный воздух и превращающиеся из отдельных лопастей в едва различимый круг. Опять взвихрился лёгкий снег, и вертолёт, почти скрытый теперь устроенной им же пургой, спокойно оторвался от земли, стал подниматься и одновременно, уменьшаясь в размерах, удаляться от этой поляны, от нас, от посёлка...

Через недолгое время он превратился сначала в зелёный кружок, потом – в точку, исчезнув совсем в голубом просторе неба, словно всосавшего его в себя.

К нам подошёл начальник метеостанции.

– Валентин Семёнович... Выхин, – представился он. – Добро пожаловать, – указал рукой на дверь метеостанции, когда мы тоже назвали себя.

На ходу Выхин сообщил, что до зимовья нас доставит на мотоцикле с прицепными санями Василий Спиридонович Нормайкин, его тесть, который здесь «служит егерем».

– Вам о нём в госпромхозе должны были сообщить... Да вот он и сам катит, – оглянувшись Выхин на звук мотора. – Видно, вертолёт услышал.

Из деревни по укатанной белой дороге в нашу сторону ехал довольно допотопный мотоцикл с прицепленными к нему сзади и болтающимися из стороны в сторону пустыми санями. Он по льду пересёк реку и начал забираться на мыс.

– Ну, пойдёте в дом, что попусту мёрзнуть, – сказал Валентин Семёнович, открывая дверь. – Василий Спиридонович подъедет – зайдёт.

– Главное, на промысле сильно не задерживайтесь, – продолжал он наставлять нас уже в сенях, пока мы раздевались. – Реки нынче, по всем прогнозам – зима-то вон какая сиротская выдалась – должны намного раньше обычного вскрыться. А из тайги выйти можно только по ним, других путей-дорожек нет... Года три, наверное, назад, – вспомнил он, – парень тут один – как раз на вашем же участке и охотился – припозднился, так его потом ороч местный вместе с напарником его в посёлок едва тёпленьких, в прямом смысле этого слова, привез. Как и живы-то остались, неясно...

«Напутствие, надо сказать, весьма оптимистичное», – подумал я, проходя за Выхиным в комнату.

* * *

«Два дня, – как сказала мне потом баба Катя, жена деда Нормайкина, к которому меня доставил ороч Степан, – слегка перекусив в первый день, я почти все время спал. Причём лежал порой так тихо, что бабка частенько подходила ко мне, иной раз и среди ночи, проверить, не помер ли их постоялец. И только когда я начинал бредить, метаться по постели, стонать – она успокаивалась: “Жи-вой!”»

Окончательно очнувшись, я увидел – за окном яркий солнечный день!

Дед с бабкой сидели за столом на кухне (с кровати мне было видно их в проём двери) и чинно пили чай с баранками и кусковым сахаром вприкуску.

Посреди стола, будто только что начищенный, плескался солнечными зайчиками внушительных размеров самовар.

Дед с бабой Катей о чём-то не спеша вполголоса беседовали. Их дочери Насти, которую я лишь мельком видел перед промыслом, дома, похоже, не было...

– Смотри-ка, бабка! – вдруг в полный голос заговорил Нормайкин, обернувшись в сторону комнаты, где, в промежутке между двух окон, стояла моя кровать. – Жилец-то наш, кажись, окончательно очухался! Глазами шаволит. Ставь кастрюлю на печь – подкрепить его надо. А то совсем дошёл. В чём душа только держится...

Через какое-то время аппетитный запах борща, казалось, совершенно вернул меня к жизни. И я, почувствовав прямо-таки зверский аппетит, попытался сесть в кровати, но голова закружилась, всё куда-то поплыло, и я опять уронил её на подушку.

– Лежи, лежи, не геройствуй пока, – подходя ко мне, осадил Василий Спиридонович. – Мы тебя шас с бабкой покормим. Много-то тебе, правда, нельзя. Почитай, больше суток почти ничего не ел, водичку в основном попивал... А там, глядишь, если силы придут, – баньку истопим! Попарю тебя как след ват. Завтрева ведь суббота – банный день. А ты у нас, паря, уже со среды отлеживаешься...

Дед вернулся к столу. Выплеснул в ведро, стоящее на полу у печи, остатки чая. Сполоснул kloкочущей струей кипятка, брызжущего из крана самовара, свою фарфоровую вместительную чашку с маленькой трещинкой сбоку и в синих цветочках по краю, смыв остатки заварки.

Самовар всё это время как-то хорошо, по-особому, по-домашнему, уютно, мило не то пыхтел, не то самозабвенно урчал, с небольшими перерывами, будто был полноправным и при том почтенным членом этого непритязательного семейства.

Дед в строгой, раз и навсегда заведённой последовательности стал наполнять свою чистую тёплую чашку. Сначала он на четверть заполнил её горячим молоком с пенкой. Потом из преющего на конфорке самовара заварника налил – более чем до половины – душистого, крепкого плиточного чая, закрасив содержимое посуды в коричневатый цвет. И только после этих процедур долил чашку почти до краёв булькающим кипятком.

К чаепитию он приступал с видимым и невооруженным глазом наслаждением. Покряхтывая от удовольствия после каждого глотка и откусывая попеременно то от сухой, крошащейся в его крепких зубах баранки, то от смоченного в чае, побуревшего с краю куска сахара.

Баба Катя, стоящая у печи и помешивающая деревянной ложкой с длинной ручкой разогревающийся борщ, неотрывно следила за действиями мужа, будто строгий экзаменатор за студентом, пытающимся «содрать» ответ на вопрос со шпаргалки.

Когда дед, жмурясь от удовольствия и в очередной раз крякнув после доброго глотка чая, на секунду замер, она неодобрительно спросила его:

– Ты чё это, дед, чай-покойник-то пьёшь?

Словно уличённый в плутовстве, тот заоправдывался.

– Да я уж последнюю чашку. На верхосытку, так сказать. А ты, Катерина, вместо того, чтоб указывать – постояльца лучше б покормила, а то он голодной слюной скоро изойдёт, – миролюбиво проговорил Нормайкин, заканчивая чаепитие.

– Ты и покорми – раз отпился, а я настоящего, – с нажимом на этом слове, – чайку попою, – ответствовала бабка.

Она передала деду ложку и миску с борщом. Сама же, отойдя от плиты, уселась перед самоваром.

В той же последовательности, что и дед, Екатерина Мартыновна проделала манипуляции по заполнению своей в отличие от дедовой небольшой чашки. Прибавив к этой «чайной церемонии» только ещё одну деталь. В свою, уже наполненную чашку, она маленькой ложкой опустила два небольших, величиною с боб, камешка, вытащив их из железной кружки, стоящей на раскалённой плите. Чай в её чашке забурился, пузырями поднимаясь снизу. И она, тоже покряхтывая, стала пить кипящий в её посудине напиток.

На самодовольное покряхтывание бабки дед, кормящий меня с ложечки, отреагировал, похоже, давно знакомой им обоим прибауткой: «Всяк пьёт, да не всяк крякат» – и задорно подмигнул жене.

Впоследствии я узнал, что баба Катя родом из маловодного степного Забайкалья, где бесснежные зимы с трескучими морозами – явление обычное. Именно из своих родных мест она, в качестве своего фактически единственного приданого, и вывезла этот обычай питья чая «с камушками», которые раскалёнными кладутся в каждую новую чашку, а уже «испытые» – остывшие, снова подогреваются.

Дед же к этому изыску по-настоящему так и не пристрастился, хотя и делал это «в угоду бабке». Однако при всяком удобном случае от данной процедуры отлынивал, как и от того, чтобы пить чай из маленькой, «дабы он не успевал простыть», чашки, вмещающей в себя лишь несколько хороших глотков, за что супруга беззлобно, но ревностно пеняла ему. И это было, пожалуй, единственное постоянное разногласие, которое сопровождало их в совместной, дол-

гой и порой совсем не лёгкой жизни. Во всём остальном – они жили душа в душу: тихо, мирно, достойно, не суетно. Так, как, наверное, хотелось бы жить каждой семье...»

* * *

В комнату в мягких, сильно пахнущих дегтем ичигах, слегка пригнув голову в проёме двери, вошёл крепкий старик с рыжевато-русой бородой, с докрасна обветренным лицом, в старенькой, потёртой во многих местах, кроличьей шапке, которую он тут же снял.

Молча кивнув всем и ни к кому конкретно не обращаясь, спросил:

– Ну что, на участок сразу отправимся или завтра с утра зарядим?

– Да лучше уж сразу – до места, – ответил Юрка.

– Лады! – пророкотал крепким голосом дед. На деда, впрочем, совсем не похожий. И больше напоминающий могучий листвень, ударив по сколу которого обухом топора, в ответ слышишь затаённый, звенящий чистый звук.

Василий Спиридонович встал с лавки и, уже от порога, сказал-распорядился:

– Я пока всё в сани загружу, а вы чайку, али чего покрепше, можете перед дорогой глотнуть. А где-то минут через сорок – тронем, чтобы мне в деревню засветло вернуться.

– Да мы поможем! – встрепенулись я и Юрка.

– Не надо! Мне не в тягость, – как норовистых жеребчиков, осадил нас дед. – В тайге ещё вдосталь натаскаетесь. Отдыхайте пока. Да и груза-то у вас – всего ничего...

Он вышел, а Валентин Семёнович, зябко поёживаясь и застёгивая длинными бледными пальцами меховую безрукавку, предложил:

– Может быть, действительно – чаю? Же-ее-на! – крикнул нараспев, не дожидаясь нашего ответа, в боковую, задёрнутую плотной бордовой шторой дверь. – У нас гости!

Через минуту штора распахнулась, мгновенно «вбрызнув» в эту, и без того светлую, горенку дополнительную порцию яркого, желтоватого солнечного света.

Вошла очень привлекательная, статная, румяная (прямо-таки «барышня-крестьянка») молодая женщина, наверное, лишь немногим старше меня и, скорее всего, – ровесница Юрки, более похожая на дочь, чем на жену Валентина Семёновича.

– Здравствуйте, – поприветствовала она тихим, приятным грудным голосом. При этом слегка поклонившись и улыбнувшись несмелой доброй улыбкой.

Румянец на её щеках разлился ещё пуще, превратившись в настоящее половодье.

– Варенье принести или закуску? – обратилась она к мужу, а тот, в свою очередь, с надеждой посмотрел на нас.

– Закуску, – тоже улыбнувшись вместо Выхина, ответил Юрка, неотрывно глядящий на жену Валентина Семёновича. И, словно спохватившись и обернувшись к нему, продолжил: – У нас тут, во фляжке, кое-что припасено для лечебных целей. НЗ, так сказать. Неприкосновенный запас. Но даже к чему-то, самому неприкосновенному, в иных случаях, я думаю, можно прикоснуться, – снова обернулся он к хозяйке, словно спрашивая у неё ответа. – Тем более, по стопочке перед дорогой, для профилактики, не повредит ведь?

– Не повредит, не повредит, – заметно оживился Валентин Семёнович. – Огурчиков солёных, грибочков – тех маленьких рыжиков, бруснички с квашеной капусткой... Рыбки, Настенька, не забудь, – распорядился он, переставая зябко кутаться. – Вот и славненько, вот и славненько, – заходил по комнате, потирая руки. И чувствовалось, что такая суета ему приятна...

После первой стопки, выпитой Валентином Семёновичем как-то в спешке, он ещё больше оживился. Кровь разлилась по его лицу...

Похрустев небольшим, в пупырышках, зелёным огурчиком, он буквально через минуту сам разлил по стопкам спирт из Юркиной фляжки, стоящей посреди стола, комментируя свои действия скороговоркой:

– Не вовремя выпитая вторая – пропавшая первая... как говорят в народе... А у военных – ещё круче: «Чтобы пуля не успела проскочить между двумя первыми рюмками...» Разведение или развод, – вдруг тоненько хихикнул он, – по вкусу. Вода в графине, стаканы – рядом. А я лучше – чистенького, для чистоты, так сказать, эксперимента и от всех потенциальных немощей, – закончил священнодействовать Выхин и поставил фляжку обратно на стол, но теперь уже поближе к себе.

После второй стопки у Валентина Семёновича словно прорвало плотину, до поры до времени сдерживающую его словесный поток, отчего дальнейшее наше общение проходило в основном уже в режиме затяжного монолога...

– Здесь, в этой глуши, я совершенно отвык от общения с нормальными людьми, – сетовал Выхин...

Из его затяжного рассказа о себе выпирало «резюме» о том, что он – Валентин Семёнович, закопал свой недюжинный талант учёного, пожертвовав всем ради любви...

Из его сбивчивого повествования я уяснил, что он в своё время окончил институт в Хабаровске, после окончания которого работал на Таймыре, изучая «феномен северного сияния». Успешно защитив кандидатскую диссертацию в Питере, там же, в институте, где защищался, остался работать. Однако стал часто прихварывать, а в дальнейшем и вообще – «серьёзно страдать лёгкими».

– Всё-таки, климат там гнилой, – констатировал Валентин Семёнович грустно. – Вот для поправки здоровья («значит, всё-таки здоровье – первопричина, а не любовь») сюда, на вольные морские воздуха и перебрался. К тому же со своей второй женой в Питере я развёлся... Надоели скандалы... А здесь, на краю Ойкумены, можно сказать, судьбу свою встретил.

Он перевёл взгляд на Настю, которая по-прежнему сидела с пунцовыми щеками. И непонятно было – то ли это естественный её румянец во всю щёку, то ли краска неловкости, смущения, стыда?.. Тем более, как явствовало из рассказа Валентина Семёновича, Настя была не первой, а уже третьей его «судьбой».

Первая «судьба» оказалась «ошибкой молодости», «ещё в студенчестве», в Хабаровске. Вторая – избалованной взбалмашной петербурженкой, неспособной понять и оценить широту взглядов гения из провинции, постоянно упрекающая его как раз в узости интересов и постоянном отсутствии средств «для нормального, человеческого существования». И только Анастасию он, по-видимому, считал пока самой судьбоносной из всех его избранниц.

– Ну что? Ещё по одной? – протянул руку к фляжке. – За женщин!

Он снова начал разливать нам, потому что стопка Анастасии со «сладеньким домашним вином», как я заметил, так и осталась нетронутой. Она лишь слегка пригубила её, а ещё точнее – едва коснулась краёв губами.

Вошёл дед Нормайкин и молча, но шумно уселся на лавку в углу.

– Может, чего-нибудь скушаете, папа? – спросила его Настя.

– Да некогда рассиживаться, – недовольно ответил тот, адресуя свою реплику, скорее всего, зятю.

– Настенька, золотко, ну за себя-то хотя бы стопочку надо выпить обязательно! – словно вовсе не замечая присутствия Нормайкина, стал упрашивать жену Валентин Семёнович, поблескивая хмельными глазками.

– Да, это-то как раз и не обязательно, – крикнул из своего угла отец Насти. – Дурное дело – не хитрое... Так едем, што ли?! – обратился он к Юрке. – Или я весь бутор домой отвезу, а завтра с утра доставлю вас куда надо.

– Да нет уж, не будем откладывать. Поедем, – завинчивая крышку фляжки и как-то по особому взглянув на Настю, ответил мой напарник. Но чувствовалось, что уезжать ему сейчас совсем не хочется.

– У-уу, битюг противный, – прошипел уже в сених вышедший проводить нас Валентин Семёнович, обращая свой затаённый гнев на тестя. – Такую компанию сломал.

И чувствовалось, что спор у них с Нормайкиным о чём-то нам неведомом, уже давнишний и, кажется, не шуточный.

Настя, в овчинном полушубке, накинутом на плечи, через некоторое время также вышла на крыльцо.

Вроде бы обращаясь к нам обоим, но глядя только на Юрку, таким же, каким он глядел на неё – особенным взглядом, когда взоры говорят гораздо больше, чем слова, она сказала:

– На обратном пути – милости просим к нам... – на секунду запнулась, но тут же продолжила: – С Валентином Семёновичем в гости...

Мне даже показалось, что Анастасия отвесит сейчас земной поклон, по старинному русскому обычаю. И у неё это получилось бы вполне естественно.

– ...Хорошим людям – всегда рады, – договорила она и, повернувшись, скрылась за дверью.

Я заметил, что после её слов Валентин Семёнович, поочерёдно пожимающий холодной мокрой ладонью нам «на прощание» руки, будто бы мгновенно отрезвел и был скорее зол, чем благодушен, каким казался за столом.

Мотор мотоцикла, оказавшегося послевоенным «трофейным» «харлеем», неведомо как попавшим сюда, докуда война не докатилась, работал ровно, без натуги, словно убаюкивая меня своим однообразным гудом.

Сани, в которых я полулежал, опираясь на локоть, чтобы видеть окружающее, плавно, без рывков, тянулись за ним по мягкому свежему снегу, оставляя позади себя параллельные следы полозьев.

«Параллельные миры – судьбы параллельные...» – отчего-то вдруг подумалось мне, когда я, глядя на них, одновременно вспомнил и Настю.

Повернув голову, взглянул на Юрку, сидящего, как за каменной стеной, за широкой спиной деда Нормайкина на заднем сиденье мотоцикла. Впрочем, Юркина спина была немногим уже дедовой, и это почему-то порадовало меня.

Я вновь вернулся в исходное положение – лицом назад, в прошлое, как Двуликий Янус, и продолжил созерцать всё то, что мы оставляли за спиной. Заснеженную широкую реку меж невысоких гор, кое-где, впрочем, сжатую отвесными скалами...

«Не дай бог очутиться в таком месте, – где вода воет от злости, сокрушая могучей стремниной всё, что встаёт на её пути, – летом».

След саней плавно повторял изгибы реки... А параллельность её берегов тоже говорила о чём-то постоянно соседствующем, но вовеки несоединимом...

На светло-фиолетовом угасающем вечернем небе уже кое-где проклюнулись первые звёзды...

И только я решил перестать думать о Насе и Юрке, о той искре, замеченной, наверное, не только мной, пробежавшей между ними, как услышал долетевший до меня от мотоцикла его голос.

Перекрывая не очень громкий, впрочем, словно растворяющийся в окружающем пространстве, гул мотора, он, наклонясь к самому уху Нормайкина, крикнул:

– А почему Настя вышла замуж за Выхина? Он ведь раза в два её старше?

Дед, видимо, не расслышал вопроса. Он также напряжённо и недвижимо, словно монумент, продолжал держать руль, глядя вперёд.

«Однако глуховат», – успел подумать я и услышал ответ.

– А за кого ей, в нашей-то глуши, было выходить?.. За медведя-шатуна, што ли? – слегка напрягая голос и пересиливая радостную трескотню мотора, ответил Нормайкин. – Парней не то, что хороших, а даже – каких заваливших, почитай, в деревне нет. После армии – ни один назад не вернулся. Бывало, конечно, нагрянет кто после «дембеля» домой. Попьёт-погуляет недельку-другую, всю деревню на уши поставит, может, кого из девок и спортить успеет, да укатит опять... Нечего теперь парням в деревне делать. Разве что скуку плодить... Леспромхоз закрыт, рыбные бригады – распались. Охота ещё только и осталась, да не каждому така работа в сладость... А тут, – размышляем со старухой, – грамотный человек, в годах, конечно, немолодых, да учёный ведь. Из самого Санкт-Петербурга! Начальник к тому же. Значит, человек не бедный, не будет, как мы всю жись, копейки считать... Вежливый до невозможности. Все у него на Вы, да через каждое слово: «извините», «пожалуйста», «будьте любезны», «не стоит благодарности». Мы такого обхожденья сроду не видали. У нас на простого человека во все времена в основном только орут да цыкают. Особливо – начальники, даже самые мелконькие, не больше прыща на заднице которые... А Настя у нас ведь даже школу как следват не кончила. В посёлке – только восьмилетка. А теперича и её прикрыли – начальная осталась... А если б ей дальше учиться – к военным надо было бы ездить. А на чём туда каждый день добираться?.. Начальную-то школу, – с горечью продолжил он, – и ту, гляди, со дня на день прикроют. Учеников на весь посёлок – едва ль с десятков наберётся... Одни старики да старухи остались, век свой доживать... Да и то потому, что податься некуда, да с места обжитого стронуться боязно... О ребятишках, внуках, мы с бабкой тоже загадывали, подстрекая Настю к замужеству. Хотя, если честно сказать, так и уговаривать-то шибко не пришлось – не с чего выбирать было... Ладно уж, думаем, – ребятики народятся – у нас-то Настя единственный, поздний ребёнок – то-то нам с бабкой радость! Семье – опора. Дазятёк, видать, хворый достался. Больше года уж вместе живут, а на внуков никаких намёков не имеется... Таки вот пироги с котятами получают...

Дед надолго замолчал. Даже насупился вроде оттого, что принудили его к такому разговору. Потом нехотя, словно через силу, снова заговорил, но уже значительно тише, отчего я мог разобрать лишь отдельные фразы, долетающие до моих ушей.

– Был у нас тут один... Бродягой его прозвали... Откуда-то то ли с Урала, то ли – из Сибири. Точно не знаю. Парень довольно скрытный. О себе особо не распространялся. Вольный стрелок, одним словом, до нас докочевавший... Охотник, правда, справный – ничего не скажешь. Да и делать почти всё умел, хоть и молодой ещё. Немногим, однако, старше вас был. Но и зимовье срубить, и плашки, кулёмки – изготовить и костёр, на трескучем морозе, да ещё при низовом ветре, мог развести. Нодью для ночлега, если в тайге ночь застанет, тоже сладить умел... Вы, кстати, в зимовьюхе, его руками сделанной, и будете жить... Словом, парень ладный, весёлый. Голова на месте, руки, слава богу – тоже не из попы растут. Один год он даже напарника себе на промысел брал, местного паренька, ожидающегося призыва в армию... Сезона три, однако, он тут прожил. У нас во дворе в старой зимовьюхе, когда в посёлке был, квартировал. Печь починил, стены глиной обмазал, побелил. Картинки разные, из старых журналов, развесил... Одна мне особо запомнилась. Волнистая такая, плавная местность... Кое-где на взгорках белые, безлистные уже, прозрачные почти, берёзки кучкуются. Стожки то там, то сям желтеют. Речушка небольшенькая, с тёмной сонной водою, вьётся. А над ней туман клоками белыми висит, холодный, осенний... И такой покой от всего этого несказанный... Так вот, – словно вспомнив об основной теме разговора, продолжил Нормайкин, – зимой, значит, квартирант наш, Олегом его величали – соболевал в тайге. Летом, если не уезжал, на лососёвую путину подряжался, с какой-нибудь бригадой. Да всё в тетрадочку свою какие-то записи делал... И исчез он отсюда как-то разом, вдруг, вопреки своим же планам. Спешил куды-то шибко, хотя к промыслу вроде намеревался вернуться... Не вернулся... Настя наша любила к нему захаживать. Чайку там попить, поговорить. Рассказчик он был – отменный! Таких ещё

поискать. Мы с бабкой, грешным делом, боялись – не испортил бы девку. Заговорит, увлечёт, обрюхатит, а сам потом – будь здоров. Ищи ветра в поле. А с другой стороны, думаем, а вдруг дело молодое сладится. Приглянутся друг дружке – да оженятся... Но, видно, Настю нашу он ровней себе не считал. Поговорить всё больше к учительке бегал. Баут, что и ребяёнок у неё от него родился. Хотя, может, и брешут. Иной соврёт – не дорого возьмёт. Мог и от ракетчиков такой сюрприз появиться. Они тут, бывает, заезжают... Их гарнизон недалеко, за сопкой стоит, километрах в десяти от посёлка... Наши-то мужичонки, мало того, что все на учёте или по бабам уже разобраны, так ещё и средний возраст – сто один год...

Дед снова замолчал. А через какое-то время, показав рукой вперёд, проговорил:

– Во-оо-он, за тем прижимом, река резко вправо возьмет. В аккурат за поворотом, на взгорочке, в кедраче ваше зимовьё и будет. Да шас сами увидите...

* * *

– Забирайся-ка, паря, повыше! Я тебя как следват попарю, – плеснув на раскалённые камни из деревянного ковша немного воды, в которой до этого запаривались берёзовые веники, предложил мне, улыбаясь, дед Нормайкин. И уже через мгновение два распаренных, духмяных, ласковых и в то же время хлёстких, источающих приятный аромат берёзовых листьев веника резво заплясали, заходили, закружились по моей спине, пояснице, ногам... И снова: сверху – вниз и снизу – вверх.

Блаженная истома, внезапный озноб и снова жар, достающий, кажется, до всех позвонков, от обволакивающего пара, после очередного недовольного шипения раскалённых камней, мгновенно превращающих выплеснутую на них воду в летучий, горячий пар, быстро устремляющийся вверх, под самый потолок. И вот уже завершающие, нехлёсткие, ласковые, плавно опускающиеся на спину удары-поглаживания разлапистых веников... После чего я пулей вылетаю в прохладный полумрак предбанника и, тоже деревянным, но большим ковшом, как на раскалённый в кузнечном горне металл, лью на себя несколько ковшей обжигающей звенящим холодом воды, зачерпнутой из широкой, невысокой, почерневшей от влаги кадки, стоящей у двери, в углу.

От озноба парилки – до обжигающих струй чистой воды, когда всё тело вмиг становится упругим. И снова – расслабляющий жар и такой желанный после него холод! Замедленно текут чудесные минуты...

– Ух, хорошо! – только и могу я выдохнуть под прозрачными струями и снова забираюсь на полоч, чуть не касаясь головой чисто скобленных осиновых досок низкого тут потолка.

Стены парной, этой добротной бревенчатой баньки, маленькое оконце которой выходит на заснеженный, не тронутый никем, просторный задний двор-огород, тоже обиты светлой осиной...

Стекло оконца мгновенно запотеваает, когда от каменки в небольшом пространстве парной разливается пар... И в этой его затуманенности есть что-то таинственное и волнующее, как вот эта строка из Пушкина: «На затуманенном стекле – заветный вензель О да Е...»

После бани, в просторных, длинных – почти до колен – белых полотняных рубахах, выданных нам с дедом бабой Катей перед баней; в валенках на босу ногу, по расчищенной – с высокими бортами снега – тропке, один за другим семенем, поспешаем в дом, покряхтывая и вдыхая чистый морозный воздух.

Омертвленная, сожженная морозом кожа лица в бане отслоилась и снялась, как маска. И теперь у меня не болезненно тёмное, а по-детски розоватое, словно первозданно чистое лицо... Хорошо если б оно таким и осталось. А ещё лучше, если б также чиста могла стать моя совесть... «Полюбите нас чёрненькими, а беленькими-то вы нас всегда полюбите», говаривал

один из персонажей «Мёртвых душ» Гоголя. Но, по-моему, это неправильно, потому что даёт определённую поблажку – поступать не как следует, а как может, в угоду обстоятельствам...

Запах кислых, преющих на загнетке печи, шей, – с добрым куском жирной баранины, от моих философских, пробежечных: от бани до дома, мыслей, – вернул меня к обыденности, к её простым радостям.

Баба Катя перед тем, как отправиться в баню, которую после нас прибирает Настя, даёт последние наставления.

– Можете пока полежать, отдохнуть. Мы – скоренько. А если сильно невтерпёж, – она переводит испытующий взгляд на деда, – пообедайте без нас. А уж чай – все вместе потом будем пить.

Как только за её спиной захлопывается входная дверь – командиром становится дед.

– Давай, Олежа, наливай нам щец. Девочек ждать не будем. Они там разведут канитель часа на полтора, а мы с тобой тут с голоду замрём, – говорит он кряхтя, стоя на коленях, пытаюсь выудить бутылку, спрятанную им в валенке между задней стенкой шкафа и стеной.

Потом он аккуратно разливает водку из извлечённой на свет Божий чекушки по стопкам. Разливает понемногу, тоненькой струей, с таким расчётом, чтобы содержимого посуды – хоть по глотку, – но хватило на три раза.

– Ну, – поднимает он свою рюмку, когда щи в глубоких, зелёной и синей – снаружи, эмалированных мисках уже дразняще парят на столе, – на здоровье!

Он медленно, для чего-то прищутив один глаз, выпивает и, крякнув от удовольствия, сначала занюхивает и лишь потом откусывает потерявшимся в бороде ртом от чёрного ржаного куска хлеба, посылая ему вдогон несколько ложек наваристого бульона.

– Поверишь ли, – положив ложку на край чашки, начинает он, – я лет до двадцати семи вообще не пил, даже в армии – ни грамма. А после смерти отца и матушки – они у меня строгие были, отец всю жизнь не пил, не курил – потихоньку распробовал её родимую, уже на фронте, правда...

Он снова разливает водку по рюмкам, явно сожалея о том, что чекушка уж больно мала. И тут же сам себя приструнивает: «Да нет, в самый раз. В этом деле слабину себе давать нельзя!».

Вторую рюмку он тоже выпивает не спеша, небольшими глотками, словно дегустируя её содержимое.

– Хороша! – ставит на стол пустую стопку. Корочкой хлеба собирает с бороды и усов оставшиеся на них капли спиртного и принимается обстоятельно есть.

В доме тихо, чисто, тепло...

Слышен только мерный ход старинных часов, висящих на белой стене. Да ещё что-то потрескивает, поскрипывает едва слышно, то ли за печкой, то ли в ней самой, то ли на чердаке...

Я тоже, вслед за дедом, только запрокинув голову, залпом выпиваю свою порцию водки, но она мне доставляет гораздо меньшее удовольствие, чем наваристые вкусные щи сразу же после неё.

– Ну что? Допьём уж, – задумчиво взглядывает дед на чекушку после значительного перерыва, когда наши чашки почти пусты.

Он выливает остатки водки в прозрачные гранёные стопки, наливая попеременно то в одну, то в другую – чтобы поровну.

Некоторое время глядит на пустую бутылку, потом убирает её под стол и говорит:

– Подлей-ка ещё по поварёжечке горяченьких. Отобедаем и вздремнём малость, до чая... Я ведь, паря, – продолжает он, пока я разливаю щи, – после армии сразу почти на войну попал. В разведке служил. Так вот, лейтенант нашего разведвзвода нам говорил: «Пейте, братцы, всегда нечётное количество рюмок – не одуреете». С той поры к такому порядку и привык: одна, три, пять или уж семь... Ух, ты! – спохватывается он, когда щи уже налиты, – сухарики-то

бабка не принесла. А щи без сухарей – не еда. Не в службу, а в дружбу, Олег, подымись на чердак, там они в мешочке холщовом, недалеко от лаза, аккуратно и лежат.

Я выхожу из уюта и тепла светлой кухоньки в нежеланную сейчас для меня прохладу сеней, делаю три шага по приставленной к брёвенчатой стене лестнице вверх, просовываю голову в квадратный, незакрытый лаз и вижу прямо перед своим носом... гроб. Он словно светится здесь, в полумраке чердака, своими чистыми, гладко оструганными досками.

Ничего не понимая, озадаченный увиденным, возвращаюсь в дом. Дед вопросительно смотрит на меня. Щи в чашках стынут.

– Там у вас... на чердаке... – пытаюсь подобрать какие-то деликатные слова, говорю я, – стоит... гроб.

– Ну?! – нетерпеливо спрашивает меня дед и тут же, словно поняв причину моей растерянности, улыбнувшись сквозь усы, говорит: – Они, сухарики-то, под крышкой, чтоб не запылились, в мешочке и лежат. Я ж тебе, кажись, говорил.

И только тут я совмещаю произнесённое дедом такое негрозное слово «домовина», проскочившее мимо моего сознания, и холодное, мрачное слово «гроб».

Дед, продолжая улыбаться, как малышу, которому приходится объяснять очевидное, поясняет.

– Домовину-то эту я для себя сладил. И пока она по делу не сгодилась – мы в ней травки разные лекарственные доржим, сухарики храним!.. Я-то в норму тела уже давно вошёл. Ни туды ни сюды больше не двигаюсь. Вот и соорудил себе эту штуковину – последнее пристанище... Катерине пока делать не берусь – она в последнее время маленько разбортела. А ближе к смёртушке, глядишь, можа и усохнет. Так что ей сейчас изготавливать хоромину – не угадашь под каки-таки размеры, – спокойно закончил он своё объяснение.

Потом мы с дедом едим щи с накрошенными в них небольшими кусочками ржаными сухарями и нет-нет да посмеиваемся оба над моей растерянностью. И в голове у меня всё вертится дедова фраза: «Если хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам».

* * *

В зимовье всё было как положено, как заведено по неписанным таёжным законам. Будто только на минутку, недавно, покинул его рачительный хозяин...

Под нарами лежал острый и в меру тяжёлый, с хорошим крепким топорищем, удобно насаженный, топор. Береста, сухие поленья, лучинки были аккуратно сложены сбоку от железной печурки, между нею и стеной. На достаточно широких нарах, сооружённых из сухих ровных жердин, расположенных по стенам буквой «Г», покоились две большие кабаны шкуры, с упругим мехом наружу и толстой, жёсткой, как жёсть, слегка лишь обезжиренной мездрой.

Привязанные к центральной потолочной балке на крепких тонких шнурках, висели небольшие полотняные мешочки с крупами, солью, сухарями.

Спички, аккуратно завернутые в непромокаемые полиэтиленовые пакеты, также имелись в наличии, разместившись на узенькой дощечке, прилаженной в пазу между двух брёвен, недалеко от печки...

– Ну, прямо-таки замок, а не зимовьё! – восхитился Юрка.

Под ровное гудение огня в железной печурке, когда уже можно было снять верхнюю одежду и растолкать всё по своим углам, мне вдруг с какой-то ностальгической пронзительностью припомнилось, что вот, только сегодня утром мы были в Совгавани. Которая отсюда, из необъятая тайги, особенно когда смолк гул удаляющегося от нас мотоцикла Нормайкина, представлялась совсем не таким уж и маленьким городом. Ведь там есть широкие улицы, с яркими огнями, освещённым, с блестящим льдом, катком, рестораном, двумя кафе и даже – тремя светофорами. По улицам этим ходят люди... А здесь мы – совсем одни...

День оказался невероятно длинным, много вместившим в себя, а потому – утомительным.

– Ну, всё. Готовить ничего не будем. У Выхина натрескались. Спим. Утро – вечера мудренее, – распорядился Юрка.

«Если путики у Олега в таком же идеальном состоянии, как жильё, то сезон для нас будет не таким уж и трудным», – засыпая в тепле, лениво и радостно думаю я.

День выдался на славу! Солнечный, морозный и... короткий, как всякий зимний день в конце января, когда времени на то, чтобы осуществить задуманное, почти никогда не хватает. Мы с Юркой успели только пробить тропу по кругу (одного из двух) маленького путика да насторожить кое-где более-менее сохранившиеся плашки и кулёмки. Большинство из которых требовало всё-таки ремонта. Однако с ними мы решили пока не возиться, раскидав, вместо этого там, где особенно обильно встречались соболиные следы, привезённые с собой капканы, предварительно вываренные в хвое, чтобы отбить тем самым несвойственный первобытному состоянию тайги, посторонний металлический запах.

В первый же день пребывания на участке, вымотавшись к концу дня до последней степени, мы воочию убедились, что без собак нам будет трудно обойтись. Дед Нормайкин, правда, обещал вчера перед отъездом, что со своим знакомым, орочем Степаном Хутунку, который через несколько дней должен будет на оленьей упряжке проследовать мимо нас, забираясь в верховья реки, – прислать двух собачек. Одна из которых, по его оценке, очень хороша, особенно на белку.

– А белки в этом году – море! – заверил он, уже стоя у мотоцикла. – И без собак вам её не добыть.

Кажется, этот разговор тоже случился не вчера, а давно. Как минимум – неделю назад. В тайге время медленное, оно никуда не спешит.

Уже заводя мотоцикл, Нормайкин продолжил.

– Найку мне вернёте, обязательно! – усилил голос он на последнем слове. – А Шайбу, если опростоволосится – можете и на рукавицы пустить. Я его на деле ещё не пробовал, но судя по всему – пёс бестолковый и ленивый...

В первую же неделю таёжного житья, постепенно привыкая, втягиваясь в немалые физические нагрузки, нам удалось завалить сохатого, да добыть десятка два рябчиков. Обеспечив тем самым себя мясом на весь промысел. Всё остальное: крупы, чай, сахар, сгущёнка, сухари – было привезено с собой. Имелся у нас даже хлеб, который в замороженном виде хранился в ящике, прибитом к стволу ели. И по мере надобности, оттаивался по буханке, когда топилась печь.

Теперь, меняясь друг с другом, мы ходили кто по большому, кто по малому путику: настораживая или проверяя – через день-два – уже настороженные ловушки и капканы.

Кому выпадал малый круг – тот возвращался пораньше и готовил еду...

Попутно мы стреляли белку, тем более что собаки уже были с нами. А белки, из-за урожайного на кедровый орех года, было действительно много. Поэтому лайки, особенно Найка, то и дело залившимся, азартным лаем призывали сойти с тропы к какому-нибудь стоящему невдалеке, а может и вдалеке, дереву, на котором они «держали» добычу.

После частых отворотов по снежной целине, когда снег бывает по колено, представлялось, что пройденных за день километров становится всё больше, а день, вопреки всем законам природы, – делается всё короче. Зато жёсткие поначалу нары с каждым днём становились всё удобнее и желанней. А сон на них был крепок и здоров.

Однако прежде чем добраться до них, нужно было выполнить целый ряд раз и навсегда затверженных, обязательных дел.

После целого дня почти непрерывной ходьбы по первозданному белоснежному царству зимы (которая таковой и бывает ещё только в глухих таёжных уголках) – надо приготовить поесть: сначала – собакам, потом – себе.

К концу ужина как раз оттают принесённые в зимовьё трофеи: тушки белок, колонков, соболюшек. Белок может быть до двух десятков и более, соболей – единицы...

При свете всё той же, не очень яркой, керосиновой лампы начинаешь снимать шкурки и насаживать, какие положено, на правилки.

С напарником за этим тягомотным занятием перемолвишься за вечер двумя-тремя словами, не больше. И не потому, что сил говорить не осталось, а потому, что все темы давно исчерпаны на несколько рядов, переговоры не раз.

После целого ряда «обязательных процедур» с наслаждением падаешь, как в бездонную пропасть, на кабанью шкуру. На несколько часов погружаясь в крепкий, беспробудный, до жидкого рассвета сон. Такое желанное, чаще всего без сновидений, забытие только и может быть у хороню и честно потрудившегося человека. А утром – снова чуть свет – всё сначала, всё по тому же кругу, подобно стрелкам часов, порою несколько месяцев кряду.

Иногда спросонья, даже не разогревая пищу (некогда!), перекусишь тем, что осталось с вечера в огромной чугунной сковороде, с застывшим в ней к утру жиром, и – в путь. Из выставшего к утру зимовья в ещё больший холод сонной, неприветливой, безразличной к тебе утренней тайги, которая ждёт тут же, за порогом.

Неразработавшиеся, неразбегавшиеся, некормленные утром (как положено) собаки, позёывая, понуро и отчего-то виновато опустив головы, бредут рядом до развилки тропы на реке, после которой каждый из нас пойдёт своим маршрутом. И одна из промысловых собак (тоже по очереди) отправится в этот путь с кем-то одним. Шарик, как «ученик» – не в счёт. Поэтому обычно он сам выбирает, за кем увязаться. Правда, чаще он выбирает всё же Найку. Потому что у неё действительно есть чему поучиться в отличие от здорового, сильного, но крайне ленивого Шайбы.

И так – от сумерек утренних до сумерек вечерних. Однообразный, годами и поколениями охотников выверенный, отлаженный ритм промысла. Где ноги не только волка, но и охотника кормят.

* * *

Почему-то мне снова припомнился тот, теперь уже такой давнишний сентябрь, когда меня вместе со студентами-охотоведами, – чтобы не мозолил понапрасну глаза начальству в госпромхозе, – до начала зимнего промысла отправили на глассере из районного центра: села Бичевая, Хабаровского края, в среднее течение реки Хор (Чёрт – в переводе с удэгейского), добывать элеутерококк – заменитель жень-шеня.

Ребята-охотоведы только что закончили второй курс, и эта «производственная практика» была у них первой, самостоятельной. После первого курса – «учебная практика» проходила у них тоже в тайге. Но это было на стационаре охотоведческого факультета, в долине реки Кочергат, где и преподаватели и студенты – весь курс – жили в одном большом доме, угол в котором был отгорожен шторой из брезента «для преподавательского состава».

Ребята были года на два-три моложе меня. Им было лет по восемнадцать-девятнадцать, не больше. Однако многие из них в делах таёжных уже успели поднатореть. Отчего и чувствовали себя в тайге гораздо увереннее, чем в посёлке, где мы вместе квартировали...

Вместительную восьмиместную палатку, в которой можно было стоять в полный рост, мы поставили метрах в пятидесяти от реки, на песчаной косе, рядом с впадающей в неё чистой протокой, из которой брали воду.

Железная печурка заняла своё почётное место в середине нашего «шатра», где для трубы имелось специально проделанное отверстие. Фанерный ящик, в котором хранились не скоропортящиеся продукты, превратился в стол. Спальные мешки, «ногами» к печке, заняли свои места вокруг неё, «головами» к стенам палатки, под брезентовым полом которой некоторое время ещё ощущалось тепло прогретого песка.

Рюкзаки с личными вещами сделались подушками. И всё было бы чудесно! Если б с самых первых минут нашего пребывания на этом пустынном и таком красивом берегу не обнаружилось весьма неприятное соседство.

Как только смолк звук мощного двигателя глиссера, скользящего, а вернее – почти летящего вниз по реке над поверхностью вод, и утих ветерок, создаваемый его винтами, – окружающее пространство наполнилось иным звуком. Это был негромкий, монотонный, зудящий гул мошки, которая не только больно кусала все незащищённые места: руки, лицо, уши, но и как-то умудрялась забираться в места защищённые: под штормовку, в сапоги, в палатку...

Спасенья не было нигде!

А всем нам предстояло пробыть здесь почти месяц.

Я уже сталкивался однажды с подобным ужасающим явлением в районе реки Нижняя Тунгуска, откуда знакомый эвенк, прихвативший попутно и меня, перегонял своё стадо оленей, спасая их от гнуса, в небольшую деревеньку Токма (географический центр Азии), куда мне и надо было попасть.

Помню, что ни накомарник, ни различные мази, предназначенные для защиты от гнуса – не помогали и не спасали от мелкой мошки, постоянные укусы которой, зуд кожи и бесконечное её гудение доводили порой до отчаяния.

В отличие от меня напарник словно не замечал этой кровожадной многотысячной «орды» и во время того же привала сидел себе спокойненько на берегу реки, похожий на изваяние Будды, неотрывно и задумчиво глядящего на бегущие струи, ожидая, когда в котелке закипит вода, чтоб заварить крепкий чаёк...

Дым небольшого костерка стлался вдоль берега, а тонкая извилистая струйка голубоватого дымка из короткой трубочки тунгуса, которую он почти никогда не выпускал изо рта, поднимался почему-то вверх. Время от времени мой провожатый обмахивал своей сухой ладонью непроницаемое тёмное морщинистое лицо с узенькими щелками глаз, и создавалось впечатление, что комары и мошка сторонятся его.

Когда я спросил проводника, как ему это удаётся, он, хитро улыбнувшись, ответил: «А ты представь, что никакого гнуса нет...»

Увы, представить такое, и тогда и теперь, я был не в состоянии...

Но если на берегу от постоянного, хоть и несильного, ветерка, тянущего с реки, мошки было всё ж не так много, то уже за ближайшими, – от песчаной косы, на которой мы расположились, – кустами её гудело видимо-невидимо. Казалось, что сам воздух от этого стал сероватым, киселеобразным, ритмично колеблющимся.

Сидеть на берегу мы не могли, потому что элеутерококк рос в тайге, на ближайших к Хору сопках. Чтобы добыть его, на руки одевалось по двое верхонок, защищающих руки от колючего ствола, за который тянешь, пока не выудишь из земли неглубоко сидящие корни этого кустарника. Они коричневатого цвета. Длина основного корня – метра два-три. В диаметре он с большой палец руки, иногда чуть потолще. Извлечённый из земли корень, с немногочисленными, более тонкими ответвлениями, отделяешь от ствола и складываешь где-нибудь в кучу, продвигаясь по склону то снизу вверх, то наоборот. И так – целый день. А вечером вязанки корня, иногда сходяв туда и обратно по нескольку раз, переносишь к палатке. И всё это время, без перерыва, тебя донимает настырный гнус.

Каждый день, отправляясь работать и переходя по стволу упавшей через протоку ели, у которой обрубил сучья, мы словно бы переходили границу, за которой нас ожидал жестокий, коварный и непримиримый враг. Так из полуада мы попадали уже в настоящий ад...

Через несколько дней руки, уши, лица у всех распухли, а кое у кого были еще и расчесаны до кровавых болячих корост. Глаза на лицах, больше напоминающих небольшие подушки, превратились в узкие прорези. Самодельные марлевые сетки, впрочем, как и всевозможные, расхваливаемые в аннотациях мази, обещающие полную защиту от любых кровососов, помогали ненадолго. А смешавшись с потом, только ещё больше разъедали кожу. И в конце концов мы перестали ими пользоваться.

Казалось, что конца-края всем этим мучениям не будет...

И вот, после трёхнедельного кошмара, вдруг... А всё произошло именно вдруг! Как бывает, по большей мере, только в сказках: «по мановению волшебной палочки», ещё как следует не проснувшись, в одно поистине прекрасное утро я уловил, что что-то изменилось, произошло без видимых причин. Исчезло нечто постоянно сопровождающее, мешающее, как заноза в пятке, с которой постепенно свыкаешься, не сумев её вытащить, но постоянно чувствуя её инородное присутствие.

Я не сразу понял, что не слышу больше монотонного гуда мошки. А ещё точнее – слышу первозданную, умиротворяющую тишину. К тому же тишина эта была не простой – она была торжественной! И только несильный ветерок, негромко шелестя листвой дерев, слегка нарушал её. Да время от времени слышно было, как на туго натянутую крышу палатки падают и скатываются, пружиня по ней, редкие, жёсткие, первые осенние листья, сорванные ветром с близстоящего высокого богатырского дуба.

Прохлада, а вернее – резкий холодок, вместо привычной утренней свежести, проникал внутрь палатки. Особенно он стал ощутим, когда я выбрался из спальника, чтобы сбежать по своим обычным утренним надобностям до зарослей кустов, росших у кромки недалевого леса.

Выскочив наружу, я увидел спокойную, потемневшую реку. Полоску темного, влажного песка вдоль уреза воды. Уже местами схваченные разноцветной осенней «сединой» кроны деревьев и – сверкающие первозданной белизной снегов – вершины Сихотэ-Алиня.

Воздух был чист, свеж, бодрящ! И, самое главное, что при глубоком вдохе мошка не попадала теперь тебе ни в нос, ни в горло... Это было настоящее обыкновенное чудо, которое страшно было спугнуть и которое рождало в глубине души ощущение неизбывного счастья, кем-то щедро подаренного тебе.

Теперь можно было, не скрывая любую часть тела, не преля под плотной одеждой, ходить, дышать, любоваться природой!

Кто не испытал подобного, тот вряд ли меня поймёт в полной мере.

От kloкочущего в горле восторга я заорал, что было мочи, а ленивое эхо ближнего распада прокатило меж сопok, как камень-валун, мой весёлый тарзаний крик.

В тот же счастливый, двадцать первый день пребывания на этом берегу нам посчастливилось подстрелить ещё и свинку дикого кабана. И мы, устроив себе выходной, сварили целое ведро вкуснейшего, сочного, не очень жирного мяса. Тем более что все предыдущие дни, несмотря на ежедневный, почти десятичасовой, отнюдь не лёгкий труд, – питались в основном кашами на воде, да сухарями, запивая всё это чаем.

Прямо на берегу, у костра, был устроен настоящий пир!

В миски каждый клал себе из ведра «смотревший» на него кусок мяса. (На меня все время почему-то «смотрели» большие куски.) Кружками черпали оттуда же наваристый бульон, в котором размачивались чёрные сухари. Всё это поедалось с величайшим удовольствием. А подходы к ведру с варевом одним разом ни у кого не ограничились.

Обед продолжался часа три, не меньше...

«Они насладились едою», – припомнилось мне из Одиссеи Гомера. И по отношению к нам в тот момент это было действительно верно.

– Может быть, каши гречневой, посуше, как обычно, сварим, – пошутил кто-то, и все дружно рассмеялись.

Уже в предвечерьи мы заварили крепкий, почти без просветов, «таёжный чай»: с мелко изрубленными корешками элеутерококка, ягодами лимонника и шиповника.

На десерт – полакомились вкусными ядрами дикого маньчжурского ореха, который мы подсушивали и подкаливали, рассыпав на топящейся железной печурке, до тех пор, пока его толстая, как у грецкого ореха, скорлупа не начинала трескаться по шву. После чего остриём ножа орех лёгким нажимом расщеплялся на две равных половинки, обнажая свою вкусную, тёплую «начинку».

Сытые, довольные собой, друг другом, своей жизнью, погодой, обстоятельствами, тем, что удалось уже заготовить не менее тонны корня, за который в промхозе получим немалые деньги, мы перед сном ещё лениво поболтали о том, о сём, обо всём, ни о чём конкретно. Ибо сосредотачиваться на чём-то особо не хотелось, тем более, что от малиново светящихся боков печурки исходило такое томное, приятное, расслабляющее тепло. Наверное, ещё и поэтому, а не только из-за обилия съеденного, язык ворочался с трудом, а веки закрывались сами.

– А может быть, уже нигде ничего нет – только мы одни остались, – вдруг высказал нелепое, но всё-таки тревожное предположение Серёга Мухин из Хабаровска. – Мы ведь здесь уже почти месяц – без газет, без радио. Вдруг там, – он немного подумал, а потом продолжил: – Атомная война разразилась?! Или какой другой катаклизм приключился?..

– Да какой там ещё ката-клизм! – ответил раздражённо рыжебородый, белокурый Ваня Ардамин из Южно-Сахалинска. – Чего ты мелешь чепуху!

Серёга ничего не ответил, но я почувствовал, как под полог палатки проникло беспокойство, отогнавшее на время сон и общее сытое благодушие. И, наверное, каждый в этот миг подумал о своём...

Я подумал о Тае. Вспомнил, как мы в Закарпатье познакомились с ней. А ведь наши пути, не оказавшись мы в определённое время в определённом месте, могли бы никогда не пересечься. И от одной только этой мысли мне стало страшно...

И всё ж «накаркал» наш Серёга – хоть и нелепое, но бедствие, коснувшееся той неясной ночью каждого из нас...

Первый ката-клизм, а ещё вернее: просто клизм, произошел ещё до полуночи.

Вначале один, потом другой, а затем уже один за другим почти без пауз, как пули в автоматной очереди, а бывало – и попарно, по трое мы стремительно вылетали из палатки и, освещаемые бледным равнодушным светом ущербной луны, спросонья натываясь на какие-то неровности, едва различимыми тенями устремлялись подальше от палатки. Через минуту от ближайших кустов до слуха долетал сначала непрерывный стрекочуще-булькающий звук, а затем – облегчённый протяжный вздох. Иногда то и другое с разных сторон слышалось одновременно...

Вернувшись в палатку, мы едва успевали забыться недолгим хрупким сном, как новый властный внутренний позыв вынимал нас из тёплых спальников. И снова – очередная «пулёмётная очередь» и облегчённый вздох, переходящий в лёгкий стон, ибо по бурлению в животе чувствовалось, что это ещё отнюдь не последний за ночь бросок из нагретой палатки в неприветливый знобкий полумрак...

– Иду на рекорд! – отбрасывая в стороны створки палатки на входе, уже под утро заорал Ваня Ардамин, выскакивая наружу восьмой раз за ночь, снова стараясь успеть отбежать как можно дальше от нашего обиталища...

– Да, плотно мы однако «заминировали» все подходы к нашему жилищу, – произнёс кто-то задумчиво. – Теперь ни зверь ни человек и на километр к нам не подойдёт...

К утру ката-клизм, впоследствии названный «Ночь свистухи», превратился уже в фарс. Так на собственном горьком опыте мы убедились, что после длительного употребления каш мясное и жирное – вредно.

На следующий день по причине общей слабости и недосыпа у нас опять образовался выходной. И мы весь день пили густой чай, заваренный с корою дуба, ели сухари и спали...

Второй катаклизм, но уж не шуточный, случился через пару дней.

Вдруг резко потеплело и сверкающие сахарные головы гор побурели. Забурлили, запенились, стремительно набирая силу, доселе неведомые, стекающие с них ручейки и потоки...

Хор, как недавно наши животы, вспучило, приподняло. Вода в нём стала грязная, а обычно плавное течение начало стремительно ускоряться. Вода быстро заполнила низины, но пока ещё медленно наступала на наш берег. Небо, словно прошлогодними потемневшими, волглыми и растрёпанными сильным ветром стогами, заволокло тучами. Из которых сочились нескончаемые тёплые потоки. Лужи кругом пузырились от тяжёлых крупных капель.

Выглядывая из палатки, мы видели, как по реке несло сначала всякий прибрежный мелкий мусор – щепки, сухую траву, небольшие ветки... Затем – целые, подмытые вместе с корнями, кусты... А через день-два потащило уже и деревья с растопыренными в разные стороны корнями и ветвями, с ещё необлетевшей на них листвой. Но даже огромные деревья река теперь легко кружила в появившихся водоворотах... Хор становился явно опасным в своей безудержной силе. И то, с какой удивительной лёгкостью, играючи река гнала по стремнине многометровые могучие деревья, тревожило нас, имеющих в наличии только небольшую лодку-ульмагду, найденную в одной из протоков, по прибытии сюда, да амарочку, привезённую с собой.

Дня через два вода в низинах за палаткой из отдельных луж превратилась в обширное озеро, почти отрезав нас тем самым от предгорий.

Ель, по которой мы переходили ручей, ночью снесло бурлящим пенистым потоком, уже накануне днём перехлёстывающим через неё. Теперь добраться до возвышенности мы могли только или на удэгейской амарочке, или на ульмагде орочей. Но при таком течении и круговоротах это предприятие становилось весьма опасным... А положение наше делалось с каждым часом всё более и более угрожающим... Но снова вдруг, ещё дня через два, будто получив строгий приказ, дождь прекратился. Отчего вода в реке и ручьях немного будто бы осела, стала не такой безудержной и дерзкой, хотя все ещё продолжала прибывать...

Каждый день утром мы шагами измеряли свой участок суши, ставший теперь островом. И каждый раз количество шагов, в длину и ширину, становилось всё меньше. А гладь теперь уже почти спокойной воды вокруг нас – всё безбрежней.

Казалось, противоположный, левый, низинный берег, с «по колено» ушедшими там в воду деревьями и почти полностью скрывшимся под ней кустарником, вдруг быстро отдвинулся от нас на значительное расстояние. И оба берега теперь разделяет не река, а пролив. Грозно и плавно несущий свои многотонные воды.

Воткнутая в землю щепка, который мы с вечера отмечали уровень воды, к утру неизменно оказывалась в воде, хотя и не так далеко от уреза реки, как это было в первые дни «потопа».

Возможно, вода продолжала прибывать из-за того, что где-то в верховьях дожди ещё шли. А вот обещанный «через месяц» и такой теперь желанный глассер за нами всё не прибывал...

В связи с этим нужно было срочно решать, куда деть, как минимум, полторы тонны уже заготовленного корня, порубленного на десяти-пятнадцатисантиметровые кусочки и сложенного для просушки недалеко от палатки в большую, довольно высокую кучу составленную из множества отдельных небольших «колодцев».

На наших лодках такое количество корня вывезти было почти невозможно. И мы с каждым днём всё нетерпеливее ждали, когда же наконец за ними придёт глассер.

То сентябрьское утро, в которое вода перестала прибывать, замерев у нашей метки и, словно бы исчерпав всю инерцию разбега, устав от собственного азарта, случилось тёплым и туманным.

Горы пушисто парили, словно вспотев от тяжёлой работы. Над водой и в низинах пластом лежал белый плотный туман.

По обыкновению я всё же измерил шагами наш остров. Он оказался 84 шага в длину и 27 – в ширину, точно таким, каким был вчера...

К обеду горы просветлели, будто чётко проявившись на фотобумаге и словно выступив вперёд.

Воздух, приносимый с их стороны из распадков, был по-прежнему теплым и влажным. И только от реки тянуло осенней прохладой, да отдельные клочья тумана всё ещё висели над водой.

– В туман глиссер вряд ли придёт, – высказал предположение Вовка Ращупкин у меня за спиной, когда я, сидя у палатки, глядел на реку.

«Да, – подумал я, – вряд ли...» – и в эту же минуту послышался неблизкий, стелющийся по воде, но ясно различимый шум мотора, который постепенно приближался и нарастал, теряясь иногда на невидимых нам поворотах...

Минут через десять мы увидели стремительно летящий вверх по течению глиссер, разгоняющий своим почти невидимым «кругом» – огромным пропеллером сзади, не такие плотные и частые уже остатки тумана, из которого он, как из облаков, весь сверкающий стёклами рубки, лихо вырулил на чистый простор посреди реки.

Сбавив скорость и осев при этом в воду, он направился к нашему берегу...»

* * *

Желтовато-рыжий колонок, прижатый в кулёмке небольшим бревёшком посреди хребта, был ещё жив и, увидев подходящего к нему человека, заметался... Вернее, попытался это сделать – быстро перебирая лапками и бросая видимую мне переднюю часть тела то вправо, то влево. При этом задняя его половина была абсолютно недвижима.

«Значит, перебит позвоночник. И попал он в ловушку, судя по всему, совсем недавно, не более часа назад», – определил я, подойдя уже вплотную.

Колонок, оскалив пасть, злобно зашипел, а потом то ли от испуга, то ли от безысходности начал вдруг жадно пожирать ещё оставшуюся перед ловушкой приманку – потроха рябчика, почти тут же срыгнув съеденное на снег.

На любое моё движение он выгибал вверх шею и, приподнимая голову, скалился, шипел, сверкал бусинками глаз... И в этих, совсем не злобных тёмных капельках застыла безысходность. И, честно говоря, я не знал, что делать? Пойти дальше по путику – оставив его здесь околевать, а потом вернуться за скрюченной замёрзшей тушкой, какие мы обычно и вынимаем из ловушек. Однако неизвестно сколько будут длиться его муки – день сегодня не очень морозный. К тому же уже под вечер, возвращаясь назад, придётся протопать несколько лишних километров...

Отпустить зверька, приподняв бревёшко, притиснувшее его к такому же нижнему, тоже вряд ли имело смысл. С перешибленным хребтом – он не жилец, а лёгкая добыча, даже для любой мелкоты.

«Может, просто уйти, не настраивая эту кулёмку до следующего раза? Но шкурку могут попортить грызуны или вороны. Вон, кстати, а вернее – совсем некстати, одна из них уже внимательно следит за всем происходящим, сидя на суку недалёкого дерева. Если я уйду – она ещё живому ему выклюет глаза, добираясь до желанного мозга...»

Колонок вдруг вытянулся и затих. И в этой первозданной, чистой тишине, когда был слышен только лёгкий шорох осыпающегося с тяжёлых еловых лап, колеблемых несильным ветерком, снега, я вдруг с какой-то сосущей сердце безысходностью ощутил всю отчаянность момента, когда надо все же принимать решение. И хриплый вороний карк показался мне особенно зловещим. Будто это я сам, подобно Прометею, был прикован к скале, а огромный орёл был готов растерзать мою печень.

«Да, поистине право выбора – наказание Божие...»

«Каково же ему сейчас?» – переключился я уже на колонка, искренне жалея зверька. И чтобы проверить, не умер ли он от чрезмерного стресса, протянул к нему ствол малокалиберной винтовки. Колонок мгновенно, словно только этого и ждал, вскинул голову и схватил конец ствола мелкими острыми зубами. Мой палец почти автоматически нажал на спусковой крючок. Выстрел прозвучал приглушенно, как детская бумажная хлопушка. Зверёк очень плавно, разжав пасть, уронил голову на снег, – затих, теперь уж навсегда.

Тонкая струйка крови, сочащаяся из уголка всё ещё оскаленной пасти, растекалась неровной «кляксой», окрашивая в алый цвет чистый нетронутый снег и рыжевато-жёлтую шерстку зверька на его груди. И я вдруг с ужасающей тоской почувствовал, что остался не только один на один со смертью, но и вообще – один. И не только среди этих насупившихся отчего-то гор, какой-то вязкой теперь тишины тайги, но и – в мире. И так мне от всего этого стало тошно, что хоть волком вой!.. И, честное слово, завыл бы, если б умел это делать...

* * *

В последнее время мне всё чаще стал сниться тот одинокий волк, которого я впервые увидел на небольшой заснеженной поляне, окружённой высокими тёмными елями, к остроконечной верхушке одной из которых, как круглый китайский фонарик, прилепилась полная и бледная луна, разливающая свое расплавленное серебро на всё вокруг. В том числе и на эту поляну, чем-то неуловимым напоминающую огромный круглый стол под открытым небом, застеленный хорошо накрахмаленной, хрустящей белой скатертью.

Волк сидел в самом центре поляны, подняв лобастую голову вверх, и был совершенно неподвижен. И если бы не белый парок дыхания, время от времени отделяющийся лёгким облачком от его носа, то можно было подумать – он мертв, что это лишь чучело волка...

Со стороны казалось – зверь в полной тишине принимает к луне, как к лакомому кругу сыра. Или пытается обонять зернистую россыпь далёких, бледных звёзд. Если какое-то время клубы пара не поднимались от головы волка, то начинало чудиться, что это обыкновенная коряга, напоминающая своими очертаниями могучего зверя, морочит меня.

Нежданный для такого тихого раннего ночного часа ветерок вздыбил шерсть на загривке волка, сразу сделав его свирепым... Уши, плавно поворачиваясь из стороны в сторону подобно локаторам, ловили эти, почти неслышимые, шорохи воздушных струй, легко покачивающих огромные нижние ветви елей. С которых, искрясь, заструился снежок.

За «опахалами» одной из них, припозднившись на промысле, я и стоял. И поскольку ветер для меня был встречный – волк не мог меня чувствовать. Но всё-таки на всякий случай я осторожно снял с плеча карабин. И когда он оказался у меня в руках, мысли от созерцательных тут же переметнулись в другую сторону.

«Ну вот, ты мне и встретился, бродяга... Сколько ты скрал у меня зверья из ловушек. Сколько пакостей разных наделал...» – начал взвинчивать себя я.

И вдруг так неожиданно, протяжно и тревожно волк завыл. И этот печальный вой – во вновь уже отстоявшейся после короткого дуновения ветерка тишине – был в этот час единственным живым, но отчего-то очень жутким звуком. Настолько жутким и неожиданным, что я невольно вскинул карабин к плечу и почувствовал, как озноб пробежал у меня по спине меж

лопатов, скатившись по позвоночнику ниже, до самого копчика. А сердце застучало гулко-гулко... Так, что его удары, казалось, могут быть услышаны зверем. Однако волк, похоже, не расслышал ничего, что могло встревожить его чуткий слух... Он продолжал выстывать одному ему известную мелодию – о чем-то своем, таком отчаянно-горестном и невозвратном...

«Пусть уж допоёт свою последнюю песню», – подумал я, опустив карабин.

Переступая, я нечаянно сошёл одной ногой с тропы, по которой возвращался в зимовьё и проходящей рядом с этой поляной. Под рыхлым снегом, в который почти до колена ушла нога, едва слышно хрустнула ветка...

Вой мгновенно пресёкся, словно кто-то быстро перерезал тонкую невидимую нить высокого звука, связывающего одинокого волка с такими же одинокими во все времена небесами. Зверь, не поворачивая головы и не изменив позы, повёл в мою сторону чутким ухом, развернув его почти на девяносто градусов. Я замер в неудобной позе, как бывает на глухаринном току, когда тетерев вдруг перестанет петь свою самозабвенную брачную песнь. Явственно ощутив, что волк «увидел» меня этим ухом. Причём не только меня, но разом, будто с высоты дерев, обозрел и оценил всю обстановку: круглую поляну, окружённую высокими, чёрными пирамидами елей, тропу, касательно идущую мимо неё, и стоящего на ней за одним из деревьев и голыми, сизыми, с сухими ветками, кустами, человека, от которого может исходить опасность.

Без видимого напряжения он бросил своё могучее, тяжёлое (судя по продавленности снега от лап) тело резко вбок, а не вперёд, как я предполагал и как было бы удобней ему, и легко, в несколько длинных прыжков, взвихривая снег позади себя, достиг края поляны. А я так и продолжал стоять на одной ноге, не понимая, то ли не успел вскинуть карабин, то ли не захотел этого делать.

Прежде чем скрыться под низкими лапами елей, волк, со слегка оскаленной, словно растяннутой в неестественной, ироничной улыбке, пастью, – обернулся, вперив в меня безжизненные, ничего не видящие бельма глаз...

Потом я ещё несколько раз видел этого слепого белого волка... Он всегда был один. Даже тогда, когда, как-то неестественно прогнувшись в спине, стремительно, но всё же осторожно, стлался по плотному, на прогалине бывшей просеки, снегу, настигая молодого, длинноногого, нескладного изюбрёнка, полагаясь в полной мере только на чутьё и слух.

Одиночеством мы были с ним схожи...

* * *

Белковать с Шайбой я отправлялся в первый раз...

Ещё перед выходом из зимовья я уловил на лице Юрки ироничную улыбку и тут же услышал:

– Ты уж лучше одного Шарика возьми – от него и то проку больше.

– А что, Шайба совсем плохо работает? – осведомился я.

– Да нет. Работает-то он, в общем, совсем не плохо...

– Так в чём же дело?

– Сам увидишь, – отмахнулся Юрка. – Может быть, с тобой он будет вести себя иначе. Я его в прошлый раз, честно говоря, от злости чуть не пристрелил...

Мы разошлись на развилке тропы. «На Север уехал один из них. На Дальний Восток – другой...» – промурлыкал я под нос начало песенки, содержания которой далее не знал, почти бегом спускаясь по склону к замёрзшей реке и вспомнив вдруг давнишний эпизод.

Как-то, под вечер уже, я слегка блуданул. И как ни старался – не мог определить, где нахожусь...

Иногда я останавливался и подолгу стоял на одном месте, надеясь, что, может быть, мой пёс выведет меня, указав дорогу. Но, как только я останавливался, он устало ложился на снег и смотрел на меня голодно-просящими глазами.

Мы уже трижды прошли по одному и тому же кругу, вновь возвращаясь на свои следы.

– Эка, нелёгкая нас с тобой кружит, – сказал я псу, с готовностью вскинувшему на мои слова голову. – Придётся, видно, здесь заночевать. Скоро уж стемнеет...

Я ещё раз попытался определить по заходящему солнцу, где нахожусь и, выбрав направление, пошёл напрямик, стараясь снова не сбиться на круг.

Буквально через десять минут я увидел, как впереди, ещё не совсем отчётливо, замаячил в маленьком оконце зимовья желтоватый свет.

«Ба! Да мы совсем близко от жилья!» – обрадовался я, хотя это и представлялось маловероятным.

А ещё через какое-то время я ступил на твердь тропы и вскоре уже открывал дверь незнакомого мне зимовья.

На нарах, перед керосиновой лампой, стоящей на столе, сработанном из трёх неоструганных по сколу плах, сидел до глаз обородевший и напрочь заросший крепкий мужик. Волосы у него лезли отовсюду: из ушей, носа... Оголённые до локтей сильные руки – тоже были в густой тёмной поросли.

– Заходи! Гостем будешь, – радостно сказал он, блеснув глазами. – Да дверь-то поплотнее притвори – не выстужай хоромы, – улыбнулся и среди густоты бороды обозначились крепкие белые зубы. – Блуданул никак?

– Ага, – ответил я, снимая с плеч панягу и карабин.

– Раздевайся, присаживайся... Да собачку свою покорми, а то ишь как жалобно за дверью скулит. А я щас закончу белку обдирать, чайку попьем. Тем более, что время самое чаевое – семь часов, – взглянул он на лежащие на столе часы.

– Восемь, – поправил я его, машинально тоже бросив взгляд на свой хронометр.

– Ну, пусть будет восемь, – легко согласился мужик и, натягивая шкурку на правилку, продолжил: – Хотя у нас всё же семь.

– У кого это у вас? – спросил я его, раздеваясь и почему-то стараясь не поворачиваться к странному хозяину спиной.

Он снова улыбнулся и ответил:

– Ты, паря, в Красноярский край забрёл. Участок у меня пограничный с Иркутской областью. Здесь время на час с вашим разнится. Иди, дружка своего корми, а я пока на стол соберу. У меня для такого редкого случая даже бутылочка припасена! Поедим, наговоримся всласть. А то я уж скоро и слова человечьи забуду. Два месяца – один. Раньше хоть с собачкой своей разговоры говорил, да, видно, скрала её какая-то зверужина...

Мужик оказался настоящим философом, отчего в любой теме разговора ему хотелось доискаться до самой сути. Да и разговора как такового в принципе не было. Наскучавшись в одиночестве, говорил в основном он, а я силился слушать его, стараясь делать вид, что мне всё это интересно, хотя о многих вещах, похоже, всерьёз волновавших бородача, я даже не задумывался ни разу.

– Времени вообще нет, потому что это категория условная. А, как известно, процессы бывают естественные и искусственные. Время искусственно, – слышал я уже сквозь пелену сна, застилающую мне глаза.

– Эй, не спи! – дёргал меня за рукав хозяин. – Давай лучше выпьем ещё по чуть-чуть. – Вот, как ты мыслишь – верно это или нет, что Время предшествовало Существованию, как утверждает Пригожин? – спрашивал он меня, плеснув на дно кружек водку.

Что я мог ему ответить, если я даже не знал, кто такой Пригожин, «изучавший феномен Времени».

Через несколько минут я всё же рухнул на нары, крепко засыпая прямо «на лету».

Утром мужик объяснил мне, как выйти на мой участок, и мы расстались...

Я перешёл в своё время. Он – остался в своём...

Почему мне вдруг припомнился тот давний случай?.. Наверное, потому, что в жизни каждый почти всегда не только остаётся при своём мнении, например, но и живёт в своём собственном измерении...

Шайба, весело помахивая хвостом, по прилизанному ветром, плотному, непроваливающемуся снегу, покрывающему сверху лёд реки, весело «катился» впереди меня пушистым рыжим шаром, иногда оглядываясь, словно вопрошая: «Ну и куда же нам дальше? Сколько ещё идти по реке?» А может быть, пёс искренне удивлялся тому, что я неспешно плетусь сзади, а не бегаю, не прыгаю, не кувыркаюсь, как он, от восторга на этом чистом ровном пространстве, искрящемся невидимыми блёстками от яркого солнца!

Утро действительно выдалось чудесное.

Прозрачное, морозное, с незапятнанной синевой небес, залитых солнечным светом. И идти от всего этого по ровной твёрдой поверхности было действительно радостно! Может быть, ещё и оттого, что промысел складывался удачно, а шаг в удобных, почти невесомых, прочных удэгейских улах, кое-где называемых олочами, сработанных из грубо выделанной, берущейся для такой работы только с хребта изюбря, где она наиболее толстая, кожи, с тёплым травяным носком, – был лёгок и пружинист!

«Вот и март на подходе...» – вдохнув полной грудью воздух и глядя на бездонное голубое, притягивающее к себе, такое редкое для сумеречного февраля, безоблачное небо, подумал я...

Свою следующую элегическую мысль я додумать уже не успел, потому что небосвод вдруг резко накренился и я почувствовал, что ухожу куда-то вниз, в текучий холод быстрых сильных водных струй.

«Только бы не затащило под лёд!» – мелькнула первая, ещё не совсем паническая мысль.

Ноги коснулись галечного дна, и я что есть силы оттолкнулся от него, проскользив по выкатывающимся из-под ног камням.

Течение в промоине было довольно сильное, и река, словно мерясь со мною силами, а точнее – как кошка с мышкой, играя от скуки в смертельную для «мышки» игру, старалась сбить с ног, чтоб затянуть в свою ледяную ловушку. Туда, где только что под льдом стремительно скрылась моя ушанка.

Упираясь, к счастью, о близкое здесь дно, я попытался достичь противоположного течения реки края промоины, где лёд был значительно толще и где выбраться на него наверняка будет легче.

Мне удалось, борясь с толкающим меня в грудь потоком, ещё раз оттолкнуться теперь уже от наклонного, ещё более неустойчивого, песчаного дна, к тому же в более глубоком месте. На этом свале толчок получился не сильный, а результат – почти нулевой. Однако из «ямы» на более мелкое место – хребтик галечника, я выбраться сумел.

«Без паники!» – постарался уговорить себя, находясь уже почти в её полной власти.

Борясь с течением, я выбросил на лёд «мелкашку» и стащил с плеч панягу, тяжелой гирей повисшую на спине. Её я тоже отбросил на лёд, продолжая тем не менее и без паняги бултыхаться посредине промоины уже, наверное, секунд десять.

Я понимал, что это очень плохо, что с каждой долей секунды я всё больше слабею и шансов выбраться становится меньше. Река же, наоборот, становится яростнее и сильнее.

Леденящий холод и проникающий в каждую клетку тела вместе с ним страх всё более и более парализовали волю. К тому же набравшая влаги одежда становилась тяжелее, а силы стремительно, словно их вымывала из меня текучая вода, таяли.

«Главное – не сбить дыхание и постараться сосредоточиться на чём-то основном: например, на продвижении к спасительному краю полыньи...»

С огромным усилием мне удалось продвинуться вперёд на полусогнутых ногах. Этот успех немного окрылил меня. К тому же в том месте, куда удалось переместиться, было совсем не глубоко. Ощущение твёрдого и близкого дна ещё больше укрепило силы, и, сделав следующие два шага, я всё-таки добрался до спасительного, как мне казалось, края лунки. Однако чрезмерно заспешив, оступился и с головой ухнул в ледяную воду, как-то неловко упав на колени и снова оказавшись почти на середине промоины.

Вновь добредя до нужного края, попытался осторожно вытянуть грудь на лёд. Однако тот, омываясь от снега водой, скользил, и после нескольких попыток я вновь оказался на полшага от заветной цели, растолкав к тому же под ногами гальку и углубив тем самым место, где стоял.

Я был близок к полному отчаянию.

«Как просто, как нелепо может наступить конец... Впрочем, смерть в принципе всегда нелепа, то есть – некрасива...» – раз мне ещё хватало сил философствовать – значит, не всё было кончено.

Шайба всё это время бегал вокруг промоины и, весело лая и вилая «бубликом» своего загнутого на спину хвоста, с интересом наблюдал за весьма необычными действиями хозяина. Он явно стремился стать участником неизвестной ему но забавной игры.

Я снова, не зная уже в который раз и хватит ли у меня сил ещё хоть на один рывок, добрался до края промоины, чувствуя под ногами узенькую галечную косу, косичку.

Вбросив обе руки на лёд (рукавиц на них уже не было), я попытался отдышаться и приморозить к очищенному мной здесь чуть раньше льду один рукав куртки. Может быть, так я смогу потом подтянуться.

Шайба, быстро пробегая мимо, всё-таки успел лизнуть меня в ничего почти уже не чувствующую руку, обдав лицо горячим дыханием. И только ощутив это тепло на щеке, я понял, что ещё что-то чувствую.

Ноги, как и руки, я почти уже не ощущал. Будто их не было вовсе. Всё тело тоже одеревенело и плохо слушалось меня. Невыносимо было, стоя почти по грудь в воде, ждать, пока куртка примёрзнет ко льду. К тому же было не так морозно и «намертво» приморозить рукав было совсем не просто. А вот намертво замёрзнуть, стоя так, с вытянутыми руками, было гораздо реальнее.

Река по-прежнему с упорством маньяка-садиста старалась оторвать от грунта ноги.

Я видел, как красные разбухшие пальцы рук скребут по снегу, но всё же вместе с рукавом постепенно отползают по льду.

«Куртку надо снять. Одна она примёрзнет быстрее...» – уже почти бессознательно дал себе команду.

Довольно быстро я сумел расстегнуть нижние, находящиеся в воде, пуговицы. С верхней пришлось повозиться. Пальцы едва слушались меня, а петля от мороза склеилась. К счастью, пуговица переломилась пополам, и полы куртки обрели свободу, тут же превратившись в парус, надув который, течение снова оттащило меня от края этой нерукотворной, вытянутой метра на три в длину лунки.

Полностью снять куртку мне удалось лишь на её середине, где вода доходила до пояса.

Я постарался выбросить её, обмякшую в воде, но ставшую такой тяжёлой, на лёд, чуть сбоку от себя. И это мне удалось.

С воскрешающей надеждой отметил, как она тяжело и плотно припечаталась к чистому в том месте льду.

К куртке тут же подскочил Шайба и, схватив зубами за торчащий клапан кармана, попытался оттащить свою «добычу» от промоины.

– Фу-у... Назад... – тихо прохрипел я, и пёс отскочил в сторону. Не от моего «окрика», а от того, что ему, скорее всего, просто не понравилось это «мокрое дело». Отскочив от куртки, он, урча и наслаждаясь пассивным сопротивлением винтовки, потащил по льду её, ухватившись за ремень и вычерчивая мушкой ствола извилистую линию...

Ухватившись за обледенелое, хрусткое сукно, я вновь попробовал вытянуть тело наружу.

Теперь мои плечи и грудь почти полностью легли на куртку, примёрзшую ко льду. Однако ноги всё ещё находились в воде. И у меня, казалось, уже не было сил: ни проползти хоть немного вперёд, ни поднять их над водой...

К счастью, река меня больше не держала полностью в своих цепких «объятиях». Пока у нас была ничья...

Я стал подзывать к себе Шайбу, незнакомым ни ему, ни мне хриплым голосом. Пёс прекратил свои весёлые занятия и вопросительно взглянул на меня. В вырывающемся из моего горла шипении ему, наверное, трудно было разобрать своё имя.

– Шай-ба... Сю-да... – еще раз позвал я.

Пёс отнёсся к моему призыву настороженно, усевшись рядом с винтовкой, утащенной им от промоины метра на три, и снова недоуменно посмотрел в мою сторону...

А мне было так невыносимо холодно, одиноко и безысходно, что невольные слёзы от жалости к себе покатались из глаз, протаивая бороздки в «коросте» льда, покрывающей лицо, и не сразу замерзая на щеках...

Я попытался шевельнуться, но не смог. Мокрый свитер и куртка теперь составляли единое целое. И это был, пожалуй, самый критический момент, потому что я с полным безразличием к своей судьбе отметил, как безнадежно устал от борьбы со спокойно журчащей водой, в которой всё ещё находилась часть моего тела... В этот момент мне просто захотелось закрыть глаза и ни о чём не думать. Собрать же разрозненные остатки сил и воли, чтобы что-то предпринять, мне представлялось почти невозможным...

А вот деятельной Шайбиной натуре бездействие, по-видимому, надоело, да и неестественная какая-то недвижимость хозяина ему совсем не нравилась. Он осторожно подошел поближе, принялся, а потом стал кружиться на одном месте, пытаясь схватить зубами белый кончик своего рыжего пушистого хвоста. Крутясь и взвизгивая от нетерпения, он смещался, почти вплотную приблизившись ко мне. И как только пёс оказался достаточно близко, я крепко, насколько смог, схватил его одной рукой за переднюю лапу. Хотя по-прежнему ни рук, ни особенно той части тела, которая ещё находилась в воде, почти не чувствовал. Будто меня вдруг распилили циркулярной пилой пополам, да так быстро, что я даже боли не успел почувствовать...

Пёс резко распрямился, уперев все свои конечности (передние – в куртку, задние – в снег) и сделал попытку попятиться. Однако это ему не удалось. Он был явно напуган, и такая игра ему совсем не нравилась. Он попробовал куснуть мою руку, однако, едва сжал её зубами (отчего я почувствовал свои пальцы и ещё крепче сомкнул их) тут же, словно извиняясь за дерзкий проступок, лизнул её.

– Ну, Шайбочка, тяни, – попросил я, держа его уже двумя руками за обе передние лапы, переместившиеся теперь на куртку. Когти его задних лап, как в барьер, упёрлись в её бесформенный край.

Пытаясь освободить лапы, пёс что есть силы потянул назад, и я почувствовал, как мой свитер с хрустом отделился от куртки и неохотно продвинулся по её неровности вперёд.

– Шайбочка, ну ещё чуть-чуть, – выдавил я из себя и увидел, как его задние лапы заскользили – уже по льду, – оставляя в лежащем на нём снегу прямые бороздки от не желавших тормозить когтей.

Чтобы пёс не снёс меня в воду, я разжал пальцы, и он тут же проворно отскочил в сторону. Но самое главное он всё-таки сделал...

Лёжа теперь уже почти всем туловищем на льду, я вспомнил про нож. «Как же я мог забыть о нём?»

Немного отдышавшись, вытянул его из берестяных ножен и, стараясь побольше размахнуться, ударил сверху вниз, стараясь воткнуть под углом, чтобы с его помощью потом ещё хоть немного подтянуться, окончательно освободив неподъёмные ноги из воды. И вновь мне удалось продвинуться вперёд.

Ещё несколько зацепов ножа, после каждого из которых в лицо летело мелкое крошево льда, и теперь только носки моих ул ещё находились в реке...

Шайба, стоя в стороне, настороженно поглядывал на меня, поджав хвост и, видимо, ожидая новых неприятностей...

Опершись руками в лёд, хрустя одеждой, я встал...

Ресницы, волосы, лицо – всё было покрыто тонкой коркой льда. Нестерпимой болью ломило уши. Я попробовал растереть их ладонями, но боль от этого только усилилась. И этот острый болевой импульс окончательно вернул меня к действительности.

«Надо двигаться, нельзя стоять!»

С трудом согнувшись, я снял úлы. Шерстяные носки выжал, а раскисшие травяные – выбросил.

Ноги были безжизненно белы и на них было страшно смотреть. Я стал мять их руками и порадовался тому, что почувствовал лёгкую боль, исходящую от них.

Быстро надев обувь, я из сухой травы, собранной под нависшим берегом, где не было снега, соорудил на голове что-то вроде копёшки, стараясь прикрыть ею лоб, уши, верх головы.

Мелкашку оставил там же, в сухом месте. Куртку ото льда отдирать не стал. Во-первых, чтоб не тратить силы, а, во-вторых, чтобы не сломать её.

До зимовья мне предстояло бежать больше двух километров.

Спрятав кисти рук под мышки, я побежал. Хотя моё неуклюжее и отнюдь не быстрое передвижение в ещё скрипящих ледяной коркой суконных штанах вряд ли можно было назвать полноценным бегом. Но так или иначе я всё же продвигался в сторону зимовья, чувствуя, что начинаю постепенно согреваться...

Шайба, похоже, не ожидавший больше от меня подвоха, трусил рядышком, лишь изредка забегая вперёд и в сторону, для того, чтобы вынюхать в прибрежном глубоком снегу мышей, укрывшихся под периной снегов в своих тёплых норках.

По добродушному повиливанию его хвоста было видно, что зла он на меня не держит, хотя и подходить слишком близко тоже пока опасается.

В очередной раз обогнав меня метров на пятьдесят, он уселся на льду и, высунув наружу красный язык, с явным удовольствием наблюдал за моим не очень скорым передвижением, которое тем не менее постепенно вернуло мне ощущение, казалось, уже навсегда утраченных ног. Да и по всему телу несмело начало разливаться тепло...

Одежда на мне парила. Дышал я прерывисто, с трудом, только усилием воли заставляя побыстрее переставлять ноги. Ибо, как только я начинал переходить на шаг, мороз вновь вонзался в меня тысячами игл, пробирая, казалось, до самых костей. И я снова принуждал себя двигаться быстрее, в ритме движения мысленно повторяя одну и ту же фразу из повести Хемингуэя «Старик и море»: «Человек не для того создан, что-бы тер-петь по-ра-же-ния...»

Метрах в пятнадцати за спиной Шайбы, с не очень крутого редколесного склона на берег реки спустилось семейство сохатых.

Гордый от ощущения своей силы, стати и от этого кажущийся немного глуповатым, самец, с мощными лопатообразными рогами; изящная, осторожная, кроткая лосиха и тонконогий несмышленный, будто чем-то опечаленный или просто уставший, детёныш.

Сохатый величаво, буквально на миг повернул голову с тяжелыми рогами в нашу сторону и, видимо, не усмотрев опасности, как ни в чём не бывало продолжил свой путь через реку.

Лосиха, словно копируя его движения, повела головой в том же направлении и, увидев нас, быстро и испуганно оглянулась на детеныша, который продолжал трусить за ней, не поднимая головы.

Что-то услышав за своей спиной, Шайба обернулся и что есть мочи рванул... по направлению ко мне, чуть не сбив меня с ног.

За дальнейшим передвижением семейства он настороженно, испуганно, но с любопытством наблюдал уже из-за моей спины.

Лоси неторопливо, но в то же время быстро вымахнули на противоположный, более высокий, берег и, легко поднимаясь по нему, вскоре скрылись среди деревьев.

– Ну и трус же ты оказался на поверку, – произнёс я вслух, глядя на выглядывающего из-за меня пса. И тут же услышал, как за одышливыми словами последовало нечто, ещё более скрипучее, прерывистое, неестественно клокочущее и лишь очень отдалённо напоминающее человеческий смех, вырывающийся откуда-то из тесного смёрзшегося нутра наружу от осознанного вдруг спасения и радости жизни!

Продолжая корчиться от смеха, я подумал ещё и о том, что, вот, если бы и сохатые умели хохотать, они наверняка разразились бы просто-таки гомерическим смехом прямо посреди реки. Ведь такого чучела огородного, с соломой на голове, которое я сейчас представлял, им видеть, пожалуй, не доводилось... Ну ни дать ни взять, Снежный человек – Кулу, только более-менее чистый, поскольку сразу после «водных процедур»...

Я понимал, что находился в воде не много, не более двух-трёх минут. Но как они неестественно долго тянулись, эти минуты... Так долго, что в этот краткий отрезок времени, казалось, могли вместиться часы, а может быть – даже и дни...

От предельной усталости и затяжного смеха, словно вымотавшего меня окончательно, я стал спотыкаться уже на ровном месте. И даже на иронию по отношению к себе у меня больше не было сил.

Там, где тропа, круто сворачивая, выходила на берег, я чуть не растянулся... И не знаю точно, хватило бы мне потом воли и сил, чтоб подняться...

В зимовье, всё ещё тяжело дыша, я первым делом растопил нашу, скорую на отдачу, железную печурку, почти сразу же почувствовав, как от неё потянуло обволакивающее меня приятное тепло, а ладоням, приложенным к трубе, стало и вовсе горячо.

Я не без труда стянул с себя заledenевшую одежду. Переоделся в запасное, чистое, мягкое, но всё ещё прохладное, китайское бельё с начёсом и связанные из собачьей шерсти, высокие носки.

Сырые вещи: шинельного сукна штаны, нижнее бельё, носки, свитер я тщательно выжал на сделанный из лиственничных плах пол, боясь даже помыслить о том, что надо бы выйти для этого наружу.

Развесив вокруг печной трубы одежду, я почувствовал, как, отходя от окоченения, едва терпимой болью заныли руки и ноги. Достав с полки заветную Юркину фляжку, растёр спиртом лицо, уши, руки, ноги, живот, поясницу, одним словом, то, до чего мог дотянуться.

От этой процедуры боль стала ещё невыносимей.

Плеснув в кружку из фляжки, я, запрокинув голову и задержав дыхание, почему-то зажмурившись, вылил в распахнутый рот содержимое. Потом прямо из носика большого железного чайника залил возникший внутри «огонь» крепким, уже немного согрвшимся, настоем чаги.

Боль понемногу притупилась, и я для закрепления успеха выпил ещё немного спирта, почти сразу же после этой дозы почувствовав лёгкое опьянение и какую-то разудалую – когда море по колено! – свободу.

Запустив в зимовьё Шайбу, который тут же пристроился поближе к печке, я растянулся на нарах и, укрывшись тёплым лоскутным одеялом, предался блаженной расслабленной лени.

Болезненное нытьё постепенно уходило, а пальцы ног и рук, слава богу, слушались меня и могли шевелиться.

Неизвестно отчего как-то глухо хохотнув, я проникновенно сказал прикорнувшему в тепле псу.

– Эх, Шайба, ты даже не соображаешь, что спас меня... По глупости своей, конечно, – потянуло меня на рассуждения. – Ведь умная собака просто бы сидела или лежала на одном месте, ожидая внятных команд. Может быть, и удивляясь, конечно, тому, что хозяину вдруг взбрело в голову среди зимы купаться...

По той ахинее, которую нёс, я понял, что спирт уже возымел надо мной своё действие.

В данный момент мне хотелось не только говорить, но обнять и даже поцеловать Шайбу в нос, прижав к своей груди его тяжёлую круглую башку. Однако вылезать из-под одеяла мне не хотелось. К тому же я чувствовал, как сладкий сон смыкает мои веки...

Спал я очень крепко, но, по-видимому, совсем недолго. Об этом говорило хотя бы то, что положенные мной в печь перед водружением на нары лиственничные поленья окончательно ещё не прогорели. Зато настой чаги в нашем закопчённом, выдавшем виды чайнике, оставленном на печи, вовсю кипел, позвякивая подсакивающей от напора пара крышкой. Может быть, этот звук, отдалённо напоминающий звонок будильника, и разбудил меня?

Я неохотно сполз с нар, убрал на стол чайник и посмотрел на свои «пылеводонепроницаемые» «командирские» часы.

Они показывали полдень.

«Остановились, что ли? – подумал я, но тут же убедился, что они идут. Красная нить секундной стрелки, соревнуясь сама с собой, быстро двигалась по кругу циферблата. А приложенные к уху часы, размеренно и старательно тикали, вселяя в душу своей слаженной работой какое-то забытое успокоение».

«Значит, все сегодняшние события: от выхода из зимовья до сей минуты втиснулись в неполных три часа?!»

– Время в отличие от жизни бесконечно! – вслух произнёс я сентенцию доморощенного философа из Красноярского края. И, обернувшись к поднявшему на мои слова голову Шайбе, продолжил: – Однаха, чай будем пить да маленько кушать.

В ответ на моё предложение, пёс, успевший усесться у печи, широко разинул пасть и, обнажив белые клыки и зубы, с повизгом зевнул.

– Ну что ж, вольному – воля, – отреагировал я на его зевок. – Продолжай дрыхнуть. Кормёжки не получишь до вечера.

Попив «чая» со сгущённым молоком и солёными сухариками, я решил сходить на реку за курткой и мелкашкой.

«Конечно, здесь, в тайге, где на десятки километров – ни одного человека, их никто не сопрет, но идти за ними всё равно когда-то надо...» – уговаривал я себя. «Да и день ещё в самом разгаре – что в зимовье-то сидеть. Батарейки в транзисторе – на ладан дышат – радио поэтому особо не слушаешь. Вечером, как обычно за ужином, включим его минут на пять – десять, узнать новости... Да и белок на обратном пути, глядишь, хоть несколько штук подстрелю...» – уговорил я себя окончательно, твёрдо решив поэтому не кормить сейчас Шайбу. «Вечером, с другими собаками натрескается, а то сытый совсем «мышковать» не будет...»

«Интересно, как там сегодня дела у Юрки? Он собирался пройти по большому путику... Да и за Найкой с Шариком забавно наблюдать. Он лезет куда ни попадая, – она его за это шугает, как строгая мамаша. Учит. А он ей потом старается подражать...»

Мысли мои перескакивали с пятого на десятое, ища зацепки, чтобы остаться, не ходить на реку. Но зацепки существенной не находилось. Даже одежда, развешанная вокруг трубы, успела подсохнуть.

Я оделся и, растормошив вновь прикорнувшего у печи пса, вышел с ним из зимовья.

На голове у меня была запасная вязаная шапочка. Вместо куртки я надел какое-то хламьё, лежащее на нарах.

Пёс, хоть и не попрошайничал явно, но всё-таки зорко следил за моими руками в надежде, что, может быть, ему перепадёт какой кусок. Быстро убедившись в тщетности своих ожиданий, он весьма неохотно тащился за мной. И, судя по всему, этот поход ему был также не в радость.

Карабин (как лишнюю тяжесть на обратном пути) я с собой не взял и шагал налегке, вооружённый лишь охотничьим ножом.

«Да, – подумал, – правильно моя бабушка говорила: «Лень-то, внучек, вперёд тебя родилась». Отчего я поленился взять карабин? Уже ведь преподала сегодня жизнь урок. А всё на авось надеюсь. Хотя в тайге в любую минуту надо быть готовым ко всякой неожиданности... Может, и правда, вернуться?.. Да, ладно уж, добегу, тут недалеко», – успокоил я себя.

Выйдя на реку, взглянул на небо. Оно было уже не такое прозрачно-голубое, как утром. И выглядело белесоватым, словно слегка полинявшим за прошедшие часы, от яркого утреннего солнца... Да и само светило представлялось не таким радостным, цыплячье-жёлтым, как нынче утром. Оно как будто вызрело, подёрнувшись кровавой пеленой...

«Ничего, время в запасе у нас ещё имеется... Туда – минут двадцать-тридцать. Там – минут десять – пятнадцать, не больше. И – в обратный путь, по пути постреливая белок, кормящихся на близстоящих к реке деревьях. Часам к пяти, когда начнёт смеркаться, будем дома», – подбодрил я себя.

Над вершинами деревьев быстро скользили разрозненные, уносимые вдаль ветром серо-белые облака, предвещающие скорую метель. Может быть, от этого мне было так неуютно, грустно и одиноко находиться под этим тревожным небом посреди бесконечной тайги.

«Скорей бы уж вечер, да с Юркой поболтать. Рассказать ему всё...»

Дойдя до полыньи, я увидел, что она с боков уже снова успела подёрнуться тонким ледком. На него боковой ветерок рассадил кружевные белые снежинки, под которыми тихо струилась вода.

«Если мороз ночью придавит, полынья зарастёт хрупким льдом, вновь став незаметным коварным капканом...»

Мои мысли, как и мои предыдущие следы, оборвались у края промоины.

«Такова жизнь... Шагаешь по ней – прямо и весело. Расправив плечи, задрав к небу голову, не ожидая подвоха... И вдруг летишь вниз... У кого-то потом хватает сил подняться. А кто-то, опустив руки, так и остаётся «на дне».

Я ещё немного постоял, завороченно глядя на струящуюся воду, а потом осторожно, хотя и с достаточным усилием, но так, чтоб куртка не переломилась, стал «отклеивать» её ото льда. Когда мне это удалось, на нём осталось серое пятно ворсинок от сукна, намертво вросших в лед. Сама же куртка теперь представляла собой нечто среднее между листом фанеры и кровельным железом, измятым в самых причудливых и неожиданных формах.

«Слава богу, что клочок самой куртки не отодрался», – подумал я, шагая с этим «негабаритным грузом» к берегу, где лежала мелкашка.

Винтовка оказалась на месте. И затвор у неё работал исправно...

Я отставил её в сторону, размышляя, что же теперь делать с курткой. Тащить её в таком виде было неудобно. Да и холод от неё исходил прямо-таки могильный, когда я прижимал её к своему боку.

Закрепив бечёвку, отвязанную от паняги, за один из рукавов куртки, второй её конец обвязал вокруг пояса, и куртка легко, послушно, с незначительным сопротивлением заскользила по льду примерно в метре от ног.

«Да, на ней теперь, наверное, и целую тушу изюбря можно перевезти, если только широкие лямки к плечам приделать», – порадовался я своему неожиданному изобретению.

На ходу осмотрев ствол винтовки и убедившись в том, что он не забит ни снегом, ни льдом, я, на всякий случай вытянув руку подальше от себя, нажал на курок, выстрелив вверх. Выстрел прозвучал нормально: коротко и сухо. Дослав затвором в ствол следующий патрон, я ещё веселее продолжил свой путь...

В молодости долго грустить не получается...

Куртка, волочащаяся за спиной, издавала какой-то нездешний, словно металлом скребли по стеклу, звук. И неизвестно отчего вдруг взбодрившийся Шайба то и дело стал наскакивать на неё, – хватая зубами то за второй рукав, а то, рыча и прижимая «добычу» к снегу передними лапами, пытаясь остановить её движение, – мешая мне передвигаться равномерно.

На мои окрики он почти не реагировал, продолжая азартно охотиться за движущейся целью, иногда прокатываясь на ней, как в санях, и балансируя при этом, чтобы не свалиться. Скольжение куртки в такие моменты сразу утяжелялось.

«Да, насчёт перевозки изюбриной туши я явно погорячился...»

Внезапно Шайба прекратил свои зловерные действия. Обогнав меня, он настороженно застыл у близкого к реке дерева, мимо которого вскоре предстояло пройти и мне.

Задрав вверх голову, пёс гулко, «простуженно» несколько раз тьякнул...

Я остановился рядом с ним. Взглянув на кедр, на одной из ветвей увидел белку, шелушащую в его вышине прошлогоднюю шишку, не свалившуюся в свое время вниз и пощажённую прожорливыми кедровками. Белка сосредоточенно, казалось, ни на что постороннее не реагируя, придерживала этот лакомый для неё плод цепкими передними лапками, заполняя орешками зашщённое пространство, отчего симпатичная мордочка зверька, с раздутыми округлыми щеками, становилась немного комичной. Коричневая шелуха шишки осыпалась с дерева на снег, напоминая на нём своей одноразмерной россыпью новогодние конфетти.

Шайба взглянул на меня и снова, но теперь уже нетерпеливо, гавкнул, завертев при этом загнутым к спине хвостом.

– Молодец! Настоящий промысловый пёс, – похвалил я его, освободив себя от куртки и паняги, чтобы зайти для выстрела с более удобной, береговой стороны.

Тщательно прицелившись, стараясь попасть в голову, чтоб не попортить шкурку, выстрелил.

«Промазал?!» – изумился я, видя как белка, перестав шелушить шишку, не шелохнувшись, будто задумавшись о чём-то важном, продолжала сидеть на ветке. Снова поднял винтовку к плечу, но, даже не успев прицелиться, увидел, как она, «клюнув» головой и разжав все свои лапки, сорвалась с ветки и с распушённым хвостом, вниз головой, устремилась к земле. И... – это было невероятно, но именно так всё и произошло – исчезла в широко разинутой пасти Шайбы, будто в водосточной трубе, прощально мелькнув ярко-рыжим кончиком хвоста.

– Ах ты, скотина! – ринулся я за удирающим от меня с поджатым хвостом псом.

Однако из-за глубокого снега на берегу, моё преследование оказалось неэффективным. Со злости я бросил вдогон ему невесть откуда оказавшуюся у меня в руках палку, но она не достигла цели.

Отбежав от берега на десяток шагов и чувствуя теперь себя в полной безопасности, пёс уселся на лёд и издали весело, нагло, без тени тревоги, следил за мной и моим неуклюжим возвращением к паняге и куртке, оставленными на льду реки...

Вторую белку, на невысокой лиственнице, наклонным шлагбаумом нависшую над рекой, первым заметил уже я.

После моего выстрела с белкой произошло то же самое, что и с её предшественницей. Она исчезла в пасти Шайбы, возникшего как раз в том месте, куда должна была упасть. Исчезла точно лопата угля в топке паровоза.

От души огреть пса стволом мелкашки, дотянувшись до него, на сей раз мне всё же удалось. И он с визгом отбежал от меня почти на середину реки.

За отстрелом третьей белки, лениво облаянной Шайбой на полпути к зимовью, он следил уже, улегшись недалеко под елью и сыто, самодовольно жмурясь. Чувствовалось, что теперь его в этом процессе вполне устраивает роль зрителя первого ряда.

«Да, небогатая у меня нынче добыча», – подумал я, цепляя тушку белки к одной из петель, приделанных к нижней части паняги.

Через несколько минут впереди я увидел цепочку следов сохатиного семейства, которое утром пересекло в том месте реку...

Шайба, бегущий теперь впереди, начал принохиваться к следам, но, трусливо поджав хвост, вновь метнулся от них поближе к хозяину.

– Ну и трус же ты, Шайба, – в очередной раз высказал я псу своё о нём мнение. – Глупый, к тому же трус. Лоси уже давно прошли, а ты всё шерсть дыбишь да урчишь. А сам дрожишь при этом, как осенний лист. Вон описался даже от страха...

Я подошёл к следам, и мне самому стало не по себе. Сбоку от их цепочки на берегу, в том месте, где они спускались на лёд реки, в рыхлом снегу были отчётливо видны свежие круглые вмятины, похожие на то, будто кто-то не очень сильно вдавливал в снег днищем плоскую тарелку.

Безо всякого сомнения это были следы тигра, которые на льду реки уже не так заметны. И оставил их здесь могучий зверь, имеющий не менее двух метров в длину, судя по расстоянию между ними.

Следы были свежие. Может быть, тигр был здесь час назад, а может быть – чуть раньше, когда мы беспечно спускались с Шайбой вниз по реке, и у меня тогда в руках не было даже мелкашки. Хотя малокалиберной пулей такую «кошку» вряд ли остановишь – только рассви-репишь...

Второй раз за день по своей беспечности я мог легко расстаться с жизнью. И второй раз за этот неудачный день Судьба была милостива ко мне...

Я даже представил, как тигр своими мерцающими зеленоватыми глазами следит за нами, такой лёгкой для него добычей, из-за ближайших прибрежных кустов... Представив это, мне сделалось так страшно и тоскливо, что впору было спрятаться в какой-нибудь мышиной норке, став маленьким и незаметным. Правда, в отличие от Шайбы я свой страх скрывать умел...

* * *

До сих пор не могу забыть мерцающие в темноте зеленоватым фосфоресцирующим блеском глаза изящной огромной тигрицы. Почему-то я сразу решил, что это именно тигрица. Наверное, из-за её не очень крупных размеров. Она с любопытством следила за тем, как мы с Ваней Ардаминым у обнаруженной днём ямы на завороте реки лучили рыбу.

На листе из жести, выгнутом в виде противня и пристроенном к «утиному» носу ульмагды, над самой водой, слегка потрескивая, горело смольё – небольшие листовенничные полешки. Огонь отбрасывал трепещущий красноватый свет на тёмную гладь сонной, спокойной воды, высвечивая не только угольно-глянцевую её поверхность, но и таинственную глыбь, в которой медленно, изгибая сильные упругие тела, «ходили», кружась в одном направлении, большие рыбыны. Их тёмные, лоснящиеся спины, иногда с выступающим над поверхностью воды плавником, были хорошо видны. Порой какая-нибудь замороженно, будто под наркозом, в едином ритме с другими ходящая по кругу рыбаина вдруг резко «взбрыкивала», поднимая над водой облачко брызг и, перевернувшись, блеснув белым животом, резко уходила на предельную, почти трёхметровую глубину в плотно-серую, неясную темь, докуда свет горящего смолья не доставал.

Мы понимали, что рыб приманивает к поверхности необычное свечение, загадочная игра несильного пламени. И они, словно подчиняясь этой дивной пляске огня, продолжали кружить вновь и вновь (поднимаясь постепенно из спасительной для них глубины) спина к спине, в загадочном каком-то ритуальном хороводе, неспешно шевеля хвостами и боковыми нижними плавниками, расположенными за головой.

Ваня тщательно, не суетясь, выбирал рыбину покрупнее да «побрюхатее» – «чтобы икры было побольше». Определив цель, медленно поднимал самодельную острогу, сделанную из черёмухового черенка, с накрепко привязанной к нему откуда-то оказавшейся у нас стальной вилкой. Плавно ведя руку за движущейся рыбой, почти у самой поверхности воды, в определенный момент он делал резкое движение руки вниз, стараясь вонзить острогу за головой рыбы.

Всплеск воды – и перед нами совершенно пустое пространство, словно и не было здесь несколько секунд назад столько добычи...

Через какое-то время рыбины снова поднимаются на поверхность, привлечённые всякий раз разным, мерцающим светом огня...

Если острога попадала в цель – важно было действовать очень быстро, чтобы уже загарпуненная рыба не сошла с неё. Для этого надо успеть не дать ей соскользнуть, развернув рукоять почти вертикально, так, чтобы один конец черенка был даже чуть-чуть в воде, а второй – с вилкой – над водой.

Ваня, стоя в лодке на коленях, виртуозно изгибается, перевешивая туловище за борт. Ульмагда кренится. И чтобы она бортом не черпнула воду, я создаю противовес – переваливаясь в противоположную сторону в задней низкой кормовой части, где сижу с шестом. Иван с видимым усилием выбрасывает из воды очередную красную рыбу, которая, тяжело падая на плоское дно и продолжая извиваться всем телом, чувствительно сотрясает нашу средних размеров «скорлупку».

Когда я, синхронно движениям Вани, перегибался через другой борт, то невольно оглядывался на противоположный, дальний от нас, более низкий берег и одновременно видел изогнувшуюся месяцем на остроге кетину и – зелёные глаза тигрицы, неотрывно следящей за нашими действиями.

В иной миг наши взгляды встречались, и тогда два «изумруда» в кустах тут же гасли, мгновенно исчезая, растворяясь в негустой темноте, будто и не было их там никогда вовсе. Словно всё лишь пригрезилось, привиделось мне при неясном свете едва различимой за ночными облаками луны.

– Ты видел тигрицу? – спросил я Ивана.

– Где?

– На том берегу, почти напротив нас.

– Нет... Может – показалось?

– Да вряд ли, – не стал, впрочем, упорствовать я.

– Ну, поплыли домой, – прекратил наш разговор Ваня. – Пять штук нам вполне хватит, – пересчитал он добычу. И, пока я, отталкиваясь от дна шестом, разворачивал лодку, он ни с того ни с сего вдруг заорал во всё горло, будоража чуткую ночную настороженную, настоявшуюся тишину: «А я плыву на амарочке! А я везу тебе кеты. Чтоб ты с голоду не сдохла – королева красоты!..»

На минуту совсем уж было съевшие луну тучки расступились и в её холодном свете, мгновенно разлившемся над всем этим миром, я увидел как красиво серебрится чешуя «уснувших» на дне лодки рыб, изредка ещё разевающих круглые рты и приподнимающих жаберные «щиты». Но для гулких и сильных ударов хвостами по дну и бортам лодки у них уже не было сил...

Иван так же внезапно, как запел, умолк и, указав рукой на берег, тихо произнёс:

– Точно, она... Сейчас только вон там, через колодину перемахнула, кошацкая... Не дай бог такой в лапы попасть... Оттолкнись немного, чтобы нас течением к тому берегу не сносило, – закончил он, удобно развалившись на носу лодки.

Призрачный лунный свет играл серебром на лёгкой ряби быстрых срединных струй, похожих почему-то на гриву белого коня, стремительно летящего по волнам ковыльной степи, встреч ветру.

Было тихо, таинственно, слегка тревожно, как всегда бывает в ночной час... Но ни во что плохое тогда всё-таки не верилось. Хотя и припомнился один давнишний эпизод – тоже связанный с «кошкой», только поменьше, не такой, которая следовала сейчас за нами вдоль берега. И от которой нас отделяло каких-нибудь пятьдесят метров воды.

Течение неспешно несло нашу лодку, слегка покачивая на невидимой волне, и я вспоминал, как рысь спокойно сидела метрах в трёх от земли, у ствола, на толстом суку обугленной лиственницы, вершина которой, видно уже давно, была срезана молнией. Превратившись в пушистый рыжеватый ком, она внимательно, но в то же время с презрением смотрела на беснующихся у ствола собак.

Скрыться ей было некуда. «Обрубок» лиственя находился почти в центре небольшой гари, ровно устланной белым нетронутым снегом, если не считать, конечно, следов самой рыси, собак и моих, ведущих к этому одинокому дереву, почему-то пощаждённому пожаром.

Когда я подошёл к дереву, рысь даже не взглянула на меня, продолжая лениво смотреть на усиливших свой лай собак, подпрыгивающих иной раз от нетерпения, словно намереваясь настичь врага прямо в воздухе.

Снег вокруг лиственницы был испещрён их следами и почти утрамбован собачьими лапами.

«Значит, уже давненько они её держат...»

– Молодцы, молодцы, – похвалил я вопросительно оглядывающихся на меня собак, почти уже охрипших от непрерывного лая. – Успокойтесь. Вы своё дело сделали. Теперь мой черёд.

Я с тоскливой безысходностью, оттого, что у зверя не было почти ни единого шанса на спасение, не торопясь снял с плеча малокалиберную винтовку.

«Слишком уж такая охота, когда зверю некуда деться, похожа на расстрел», – подумал я, готовясь выстрелить.

Собаки смолкли, замерли, устремив взгляд, в котором угадывалось нетерпение, вверх.

«Может, шугануть её оттуда палкой? Пусть бежит... Хотя б теоретический шанс на спасение у нее тогда остаётся... Впрочем, далеко ли она убежит на открытом пространстве?.. Собаки вмиг достанут... Шкуру попортят, да и она какую-нибудь из них сможет покалечить... Сама виновата, что на одинокое дерево забралась», – рассердился я на рысь.

Собак теперь отсюда так просто не уведёшь. Сутками будут караулить. Да и как их уводить. Не поймут. Ведь они свою работу делают, причём честно.

Теперь, когда собаки примолкли, иногда лишь поскуливая от нетерпачки, рысь, по-прежнему свернувшаяся клубком, словно её знобило, почти не поворачивая головы, следила только за мной своими неотступными глазами, решив, что главный здесь я.

Её, казалось, абсолютно безразличный ко всему на свете, в том числе и к собственной судьбе, взгляд смущал меня, и я никак не мог сосредоточиться, решиться на выстрел. На лишение жизни по собственному произволу живого существа... Такого же живого, как и я, и тоже с одной-единственной жизнью...

Рысь продолжала смотреть только на меня.

«Хоть бы отвернулась, что ли...» – подумал я, подводя приклад винтовки к плечу.

Но та неотрывно, не мигая, словно гипнотизируя, продолжала смотреть мне в лицо то жёлтыми, то изумрудными, непонятно отчего вдруг меняющимися свой цвет, глазами. И это был взгляд стойка, готового в любую минуту ко всему В том числе и – к смерти...

На время притихшие собаки, видя, что ничего не происходит, снова подняли разногласный гвалт. А одна сучонка, приподнявшись на задние лапы, передними стала скрести кору дерева и, ощерясь, кусать его ствол.

Рысь лениво перевела взгляд на нее.

В это время я выстрелил...

Пушистый ком, словно привели в действие невидимые пружины, распрямился, отделившись от ветки, будто в последний момент рысь всё-таки успела оттолкнуться от неё, прыгнув в сторону. На какое-то время это распластанное тело зависло в воздухе... А потом, глухо стукнув, упало на утоптаный мной и собаками снег.

Здоровенный кобель проворнее других подскочил к жертве и, немного вжав в снег зверя сильными передними лапами, захлопнул «капкан» своей пасти на горле врага. Но это был уже мёртвый враг. Поняв это, собаки быстро успокоились, потеряв к рыси всякий интерес.

Я осмотрел тушку и увидел, что пуля, войдя в левое ухо, прошла навылет через голову.

«Ну что же, во всяком случае – мгновенная, не позорная, не мучительная смерть...» Это было всё, что я смог тогда сделать для рыси.

В награду за хорошую работу я отрезал собакам от болтающихся снизу паняги нескольких тушек белок по лапке и кинул подальше от вытянувшейся на снегу рыси, у которой ветер шевелил кисточки волос на кончиках ушей... Это шевеление создавало иллюзию жизни. Будто рысь чутко прислушивается ко всему происходящему вокруг неё.

Псы быстро расправились с беличьими лапками и ждали от меня новой подачи, преданно глядя в глаза и виляя хвостами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.